

**ГОСИЗДАТ**

**Л Е Ш**

**З**

**В НОМЕРЕ:  
„Владимир Ильич  
ЛЕНИН“**

**ПОЭМА В. В. МАЯКОВСКОГО.**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.**

**ЛЕФ**

---

**ЖУРНАЛ  
ЛЕВОГО ФРОНТА**

**ИСКУССТВ**

**№ 3 (7)**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР  
В. В. МАЯКОВСКИЙ**

---

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД**

# ПРАКТИКА

**ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН**

**В. В. Маяковский**

*Российской коммунистической партии посвящая*

Время.  
Начинаю  
    про Ленина рассказ.  
Но не потому,  
    что горя  
    нету более —  
время  
    потому,  
    что резкая тоска  
стала ясною  
    осознанною болью.  
Время,  
    снова  
    ленинские лозунги развихри!  
Нам ли  
    растекаться  
    слезной лужею.  
Ленин  
    и теперь  
    живеет всех живых —  
наше знание,  
    сила  
    и оружие.

---

Набор коллектива — под руководством Н. А. Сахарова.  
Верстка: г. С. Т. Степанов.  
Печать — под наблюдением машиниста г. М. И. Грошева.  
Печать обложки г. М. И. Неверова.  
Обложка — конструктивиста Родченко.

---

Главы № 27.995

Тираж 1.500 экз.

Типография „Красный Пролетарий“. Пименовская улица, д. 1-16.

07 003

Люди--лодки,  
 хотя и на суше.  
 Проживешь  
 свое  
 пока,  
 много всяких  
 грязных ракушек  
 налипают  
 нам  
 на бока.  
 А потом  
 пробывши  
 бурю разозленную,  
 сядешь,  
 чтобы солнца близь,  
 и счищаешь  
 водорослей—  
 бороду зеленую  
 и медуз малиновую слизь.  
 И  
 себя  
 под Лениным чищу,  
 чтобы плыть  
 в революцию дальше,  
 Я боюсь  
 этих строчек тысячи,  
 как мальчишкой  
 боюсь фальши.  
 Рассияют головою  
 венчик—  
 я тревожусь  
 не закрыло чтоб  
 настоящий  
 мудрый  
 человечий  
 Ленинский  
 огромный лоб.  
 Я боюсь  
 чтоб шествия  
 и мавзолей,  
 поклонений  
 установленный статут  
 не залили б  
 приторным  
 елеем  
 Ленинскую  
 простоту.

За него дрожу,  
 как за зеницу глаза,  
 чтоб конфетной  
 не был  
 красотой оболган.  
 Голосует сердце—  
 я писать обязан  
 по мандату долга.  
 Вся Москва.  
 Промерзшая земля  
 дрожит от гуда.  
 Над кострами  
 обмороженные  
 с ночи.  
 Что он сделал?  
 Кто он  
 и откуда?  
 Почему  
 ему  
 такая почесть?  
 Слово за словом  
 из памяти таская,  
 не скажу  
 ни одному—  
 на место сядь.  
 Как бедна  
 у мира  
 слова мастерская—  
 подходящее—  
 откуда  
 взять?!  
 У нас  
 семь дней.  
 У нас  
 часов двенадцать.  
 Не прожить  
 себя длинней.  
 Смерть  
 не умеет извиняться.  
 Если ж  
 с часами плохо,  
 мала  
 календарная мера,  
 мы говорим—  
 „эпоха“,  
 мы говорим—  
 „эра“.

Мы  
     спим  
         ночь.  
 Днем  
     совершаем поступки.  
 Любим  
     свою голочь  
 воду  
     в своей ступке.  
 А если  
     за всех смог  
 направлять  
     потоки явлений,  
 мы говорим—  
     „пророк“,  
 мы говорим—  
     „гений“.  
 У нас  
     претензий нет—  
 не зовут  
     мы и не лезем—  
 правимся  
     своей жене  
 и то  
     довольны до нельзя.  
  
 Если ж  
     телом  
             и духом слит  
 прет  
     на нас непохожий,  
         — говорим —  
     „царственный вид“,  
 удивляемся—  
     „дар Божий“  
 Скажут так—  
     и вышло  
         ни умно  
             ни глуп.  
 Повисят слова  
     и уплывут  
         как дым.  
 Ничего  
     не выколупишь  
         из таких скорлупок—  
 ни рукам  
     ни голове  
         не ощутимы.

Как же  
     Ленина  
         таким аршином мерить!?  
 Ведь глазами  
     видел  
         каждый всяк—  
 „эра“ эта  
     проходила в двери  
 даже  
     головой  
         не задевая о косяк.  
 Неужели  
     про Ленина тоже—  
 „вождь  
     милостью божьей“?!  
 Если б  
     был он  
         царствен и божествен,  
 я б  
     от ярости  
         себя не поберег.  
 И бы  
     стал бы  
         в перекоре шествий  
 поклонениям  
     и толпам  
         поперек.  
 Я б  
     нашел  
         слова  
             проклятья громоустого  
 и пока  
     растоптан  
         я  
             и выкрик мой—  
 я бросал бы  
     в небо  
         богохульства  
 по Кремлю бы  
     бомбами  
         метал—  
             долгой!  
 Но гварды  
     шаги Дзержинского  
         у гроба—  
 нынче бы  
     могла  
         с постов сойти чека—

сквозь миллионы глаз  
 и у меня—  
 сквозь оба  
 лишь сосульки слез,  
 примерзшие  
 к щекам.  
 Богу  
 почести казенные—  
 не новость.  
 Нет!—  
 Сегодня  
 настоящей болью  
 сердце холодеи!  
 Мы  
 хороним  
 самого земного  
 из всех  
 прошедших  
 по земле людей.  
 Он земной—  
 но не из тех,  
 кто глазом  
 упирается  
 в свое корыто.  
 Землю  
 всю  
 охватывая разом,  
 видел  
 то,  
 что временем закрыто.  
 Он как вы  
 и я—  
 совсем такой же,  
 только  
 может быть  
 у самых глаз  
 мысли  
 больше нашего  
 морщият кожей  
 да насм-шливей  
 и тверже губы,  
 чем у нас.  
 Не сатрапия твердость  
 триумфаторской  
 копяской,  
 мнущая  
 тебя,  
 подергивая возж.

Он  
 к товарищу  
 милел  
 людскою лаской.  
 Он  
 к врагу  
 вставал  
 железа тверже.  
 Знал он  
 слабости  
 знакомые у нас—  
 как и мы  
 перемогал болезни.  
 Скажем,  
 мне бильярд—  
 отращиваю глаз—  
 шахматы ему—  
 они вождям полезней.  
 И от шахмат перейдя  
 к врагу натурой,  
 в люди выведя  
 вчерашних пешек строй,  
 становил  
 рабоче-человечьей диктатурой  
 над тюремной  
 капиталовой турой.  
 И ему  
 и нам  
 одно и тоже дорого.  
 Отчего ж—  
 стоящий  
 от него поодаль—  
 я бы  
 жизнь свою,  
 глупея от восторга,  
 за одно б  
 его дыханье  
 отдал?  
 Да не я один!—  
 Да что я  
 лучше что ли?  
 Даже не позвать,  
 раскрыть бы только рот—  
 кто из вас  
 из сел—  
 из кожи вон—  
 на штолен  
 не шагнет вперед?

В качке—  
 будто бы хватил  
 вина и горя лишку—  
 инстинктивно  
 хоронясь  
 трамвайной сети.  
 Кто  
 сейчас  
 оплакал бы  
 мою смертишку  
 в трауре  
 вот этой  
 безразличной смерти?  
 Со знаменами идут  
 и так.  
 Похоже—  
 стала  
 вновь  
 Россия кочевой.  
 И колонный зал  
 дрожит,  
 насквозь прохожен.  
 Почему?  
 Зачем  
 и отчего?  
 Телеграф  
 охрип  
 от траурного гуда.  
 Слезы снега  
 с флажгих  
 покрасневших век.  
 Что он сделал,  
 кто он  
 и откуда  
 этот  
 самый человечный человек?

Коротка  
 и до последних мгновений  
 нам  
 известна  
 жизнь Ульянова.  
 Но долгую жизнь  
 товарища Ленина  
 надо писать  
 и описывать  
 заново.—  
 Далеко давным  
 годов  
 за двести  
 первые  
 про Ленина  
 восходят вести.  
 Слышите—  
 железный  
 и луженый,  
 прорезая  
 древние века,  
 голос  
 прадеда  
 Бромлея и Гужона—  
 первого паровика?  
 Капитал—  
 его величество—  
 не коронованный,  
 не венчанный—  
 объявляет  
 покоренной  
 силу деревенщины.  
 Город грабил—  
 греб—  
 грабастал—  
 глыбил  
 пузо касс.  
 А у станков—  
 худой и горбастый—  
 встал  
 рабочий класс.  
 И уже  
 грозил,  
 вавивая трубы за небо:—  
 — нами  
 к золоту  
 пути мостите—

мы родим  
пошлем,  
придет когда-нибудь  
человек,  
борец,  
каратель,  
мститель!

И уже  
смешались  
облака и дым,  
булго  
рядовые  
одного полка.

Небеса  
становятся двойными—  
дымы  
забивают облака.

Товары  
растут  
меж нищими высясь.

Директор  
лысый чорт  
пощелкал счетами,  
буркнул  
„кризис!“

И вывесил слово—  
„рассчет“.

Кропило  
сласти  
мушное сево.

Хлеба  
зерном  
в элеваторах портятся,  
а под витринами  
всех Елисеевых,  
живот подведя  
плелась безработица.

И бурчало  
у трущоб в утробе,  
покрывая  
детворинный плач:—  
под работу,  
под винтовку ль  
на—  
ладони обе!

Приходи,  
заступник  
и расцелайчик!

Эй,  
верблюду,  
открыватель колоний!

Эй,  
колонны  
стальных кораблей!

Марш  
в пустыни  
огня раскаленной!

Пеньте  
пену  
бумаги белой!

Начинают  
черным лататься  
оазисы  
пальмовых нег.

Вон  
среди  
золотистых плантаций  
засеченный  
вымычал негр.

У-у-у-у-у  
у-у-у  
Нил, мой Нил.

Приплещи  
и выплещи  
черные дни!

Чтоб чернее были  
чем я во сне.

И пожар чтоб  
крови вот этой красней.

Чтоб во всем в том кофе,  
враз вскипелом,  
вариться пузатим—  
черным и белым.

Каждый  
добытый  
слоновий клык—  
тык его в мясо,  
в сердце тык!

Хоть для правнуков  
не зря чтоб  
кровью литься—  
выплыви  
заступник  
солнцелицей.



Я кончаюсь,  
бог смертей  
пришел и поманил.

Помни  
это заклинанье  
Нил,  
мой Нил!

В снегах России,  
в бреду Патогонии  
расставило  
время  
станки потогонные.

У Иванова уже  
у Вознесенска  
каменные туши

будоражат  
выкрики частушек:  
"Эх завод, ты мой завод,  
желтоглазина,  
время нового зовет  
Стеньку Разина".

Внуки  
спросят:  
Что такое капиталист?..

Как дети  
теперь:  
— Что это  
г-о-р-о-д-о-в-о-п?...

Для внуков  
пиво  
в один лист

капитализма  
портрет родовой.

Капитализм  
в молодые года

был ничего,  
деловой парнишка.

Первый работал,—  
не боялся тогда,

что у него  
от работ  
засалится манишка.

Трико феодальное  
ему тесно.

Лез  
не хуже,  
чем нынче лезут.

Капитализм  
революциями  
своей весной

расцвел  
и даже  
подпевал „Марсельезу“.

Машину  
он  
задумал и выдумал—

люди,  
и те—ей.

Он  
по вселенной  
видимо невидимо  
рабочих расплодил детей.

Он враз  
и царства,  
и графства сжевал  
с коронами их  
и с орлами.

Встучел,  
как библейская корова  
или вол.

Облизывается  
язык-парламент.

С годами  
ослабла  
мускулов сталь—

он раздобыл  
и распух.

Такой же  
с течением времени  
стал,

как и его гроссбух.  
Дворец возвел—  
не увидишь такого.

Художник  
—не один.—  
по стенам поерзал.

Пол ампиристый,  
потолок рококовый,  
стенки Людовика XIV, —  
каторга.

Вокруг с лицом,  
что равно годится  
быть и лицом и ягодицей—  
задолбная  
полицая.

И краске,  
и песне  
душа глуха.  
как корове  
цветы среди луга.  
Этика,  
эстетика  
и прочая чепуха—  
просто—его женская прислуга.  
Его—  
и рай,  
и преисподняя.  
Распродает старухам  
дырки  
от гвоздей  
креста господня  
и перо  
хвоста  
святого духа.  
Наконец,  
и он  
перерос себя,  
за него  
работает раб.  
Лишь наживая,  
жря  
и спя,  
капиталам разбух  
и обдряб.  
Обдряб—  
и лег  
у истории на пути  
в мир,  
как в свою кровать.  
Его не объехать,  
не обойти,  
единственный выход—  
взорвать!  
Знаю,—  
лирик  
скривится горько,  
критик  
ринется  
хлыстиком выстегать,  
а где-ж душа?...  
Да это-ж— риторика;  
поэзия где-ж?—  
Одна публицистика!..

Капитализм—  
неизящное слово;  
куда изящней звучит—  
„соловей“,  
но я  
возвращусь к нему  
снова  
и снова—  
строку  
агитаторским лозунгом взвей!  
Я буду писать  
и про то  
и про это,  
но нынче  
не время  
любвных ляс.  
Я  
всю свою  
звонкую силу поэта  
тебе отдаю  
атакующий класс.  
Пролетариат—  
неуклюже и уако  
тому,  
кому  
коммунизм западня.  
Для нас  
это слово—  
могучая музыка,  
могущая  
мертвых  
сражаться поднять.  
Этажи  
уже  
заежились дрожа.  
Клич подвалов  
поднимается по этажам.  
Мы прорвемся  
небесам  
в распахнутую снью.  
Мы пройдем  
сквозь каменный колодец.  
Будет!  
О этих нар  
рабочий сын—  
пролетариатоводец.  
Им

уже  
земного шара мало.  
И рукой  
отяжелевшей  
от колец,  
тянется  
упитанная  
туша капитала  
ухватить  
чужой горлец.  
Идут  
железом  
кляца и лацкая.  
Убивайте!  
Двум буржуям тесно!  
Каждое село —  
могила братская,  
города —  
завод протезный.  
Кончилось.  
Столы  
накрыли чайные.  
Пирогом  
победа на столе.  
Слушайте  
могил чревоущание!  
Кастаньеты костылей!  
Снова  
нас  
увидите  
в военной яви.  
Эту  
время  
не простит вину.  
Он расплатится,  
придет он  
и объявит  
вам  
и вашинской войне  
войну.  
Вырастают  
на земле  
слезы овера.  
Слишком  
непролазны  
крови топн.

И клонились  
одиночки фантазеры  
над решением  
немыслимых утопий.  
Голову  
об жизнь  
разбили филантропы —  
разве  
путь миллионам  
филантропов тропы!?  
И уже  
бессилей  
сам капиталист,  
так  
его  
машина размахалась.  
Строй его  
несет,  
как пожелтый лист,  
кризисов  
и забастовок ха'с.  
В чей карман  
стекаем  
золотою лавой?  
С кем итти  
и на кого пенять?  
Класс миллионоглавый  
напрягает глаз  
себя понять.  
Время  
часы  
капитала  
крало.  
Побивая  
прожекторов яркость,  
время  
родило  
брата Карла, —  
старший  
Ленинский брат  
Маркс.  
Маркс.  
Встает глазам  
седня портретных рама.  
Как же  
жизнь его  
от представлений далега!

Люди  
 видят  
 замурованного в мрамор,  
 гипсом  
 холодеющего старика.  
 Но когда  
 революционной тропкой  
 первый  
 делали  
 рабочие  
 шажок—  
 о, какой  
 невероятной топкой  
 сердце Маркс  
 и мысль свою зажег  
 Будто сам  
 в заводе каждом—  
 стоя стоймя—  
 будто  
 каждый труд  
 размалывая лично—  
 грабящих  
 прибавочную стоимость  
 за руку  
 поймал с поличным.  
 Где дрожали тельцем,  
 не вздымая глаз свой,  
 даже  
 до пула  
 биржевика дельца.—  
 Маркс  
 повел  
 разить  
 войною классовой  
 золотого—  
 до быка  
 доросшего—тельца.  
 Нам казалось  
 в коммунизмовы затоны  
 только волны случая  
 закинут  
 нас  
 юля!  
 Маркс  
 раскрыл  
 истории заковы—  
 пролетариат  
 поставил у руля.

Книги Маркса—  
 не набора  
 гранки,  
 не сухие  
 цифр  
 столбцы.  
 Маркс  
 рабочего  
 поставил  
 на ноги  
 и повел  
 колоннами  
 стройнее цифр.  
 Вел  
 и говорил—  
 сражаясь лягте,  
 дело—  
 корректура  
 выкладкам ума.  
 Он придет,  
 придет  
 великий практик.  
 Поведет  
 полями битв,  
 а не бумаг.  
 Жерновами дум  
 последнее мелл  
 и рукой  
 дописывал  
 восковой,  
 знаю,  
 Марксу  
 виделось  
 видение Кремля  
 и коммуны  
 флаг  
 над красною Москвою.  
 Назревали,  
 зрели дни—  
 как дыни.  
 Пролетариат  
 вырослел  
 и вырос из ребят.  
 Капиталовы  
 отвесные твердыни  
 валом размывают  
 и дробят.

У каких-нибудь годов  
     на расстоянии  
 сколько гроз гудит  
     от нарастаний,  
 завершается  
     восстаньем  
     гнева нарастание,  
 нарастают  
     революции  
     за вспышкамь восстаний.

Крут  
     буржуев  
     озверевший норов.  
 Тьерами растерзанные  
     воя и стеная,  
     тепи прадедов  
     парижских коммунаров  
 и сейчас  
     вопят  
     парижскою стеною.

Слушайте, товарищи!  
     Смотрите, братья!  
 Горе одиночкам—  
     вычтись на нас.  
 Сообща взрывайте.  
     Бейте партией,  
 кулаком  
     одним  
     собрав  
     рабочий класс.

Скажут—  
     „мы вожди“  
     а сами —  
     шаркунами.

За речами  
     шкуру  
     распознать умеи!  
 Будет вождь  
     такой,  
     что мелочами с нами—  
 хлеба проще—  
     рельс прямой.  
 Смесью классов,  
     вер,  
     ссловний  
     и наречий  
 на рублях колес  
     землища двигалась,

Капитал  
     ежом противоречий  
 род во всю  
     и креп,  
     штыками иглясь.

Коммунизма  
     призрак  
     по Европе рыскал,  
 уходил  
     и вновь  
     маячил в отдалении.

По всему поэтому  
     в глуши Симбирска  
 родился  
     обыкновенный мальчик  
     Ленин.

## КРЕСТЬЯНСКАЯ—БУДЕН- НОВЦАМ

(Распознавал)

### Семен Кирсанов

Просидел в холодной—АРХИП—коммунар,  
ОСИП—

заперт в кутузку—  
ни встать, ни сесть.

А придет поляк—  
по спине пожар,  
и гуляет плетью по спине в объезд.  
В Исполкоме Архипу не быть совсем  
Голубой поляк—там—от белых войск—  
„Я те в земби дам

впшиско земби на земь,  
Пше-давай пшеницу,  
да кланяйся в пояс!“

Из опушки в село заглянули свои,  
Говорят мне:

В ОДИН КЛИН, КЛИМ, КОЛОТИ!  
Эх буденновцы братцы,  
ЗА-СВИСТАЛИ СОЛОВЬИ,  
ИЗ-ПОД ТОПОТА КОПЫТ ПУЛЯ ПО ПОЛЮ ЛЕТИ!  
Словно белый бык, налетел поляк,  
Голова в поту, и грозит губа  
налетел КАЗАК, разрубил ПОПОЛАМ,  
У БЫКА БЕЛА ГУБА БЫЛА ТУПА.  
Перед главной избой народ голосит.  
„Эх пришла наша власть

САБИРАЙСЯ НАРОД!  
ЧТО, что ОСИП ОХРИП  
а АРХИП ОСИП—

если каждый народу о новом орет?!  
К мужикам подошла казаков братва:  
„Где товарищи нам прикурнуть, лечь?“  
—НА ДВОРЕ ДРОВА; НА ДРОВАХ ТРАВА  
накорми коня, затопи печь.—  
И СТОИТ МОСКВА, СОВНАРКОМ ГУДИТ,  
И ГРОЗИТ РУЖЬЕМ РЕВВОЕНСОВЕТ—  
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ОТОБЬЕТ В ГРУДИ,  
НАШЕЙ КОННИЦЕ СЛАВУ НА ТЫЩИ ЛЕТ.

## КРАСНОАРМЕЙСКАЯ—РАЗ- ГОВОРНАЯ

(Третий эпизод поэмы о гражданской войне)

Шли мы—полем,  
Шли мы—лугом,  
Шли мы—полком,  
Шли мы—взводом;  
Белых—колем,  
гоним кругом  
в общем, толком,  
страх наводим.

Разузнать велел комбриг нам,  
где гудеж идет в полях—  
—На разведку, Сенька, двигай,  
Видит за плечи—

—и на шлях—:

Вот, брат,  
иду, брат,  
в куст, брат,  
в овраг, брат,  
лег, брат,  
в кусты, брат,  
идет, брат,  
враг, гад,  
С ружьем, гад,  
С ножом, гад,  
И тут, брат,  
в с т а е ш ь—  
—Стой, гад,  
ни сместа—

Д А Е Ш Ь.

А он

гад  
слышь  
брат

четырех глазий.

брит  
брат  
крыт  
брат

круглой папахой  
водкой—воняет  
шаг—до заразы  
а грудь  
брат

шита  
 желтой рубахой.  
 —Был, грю, бритый  
 будешь битый  
 резал наших  
 кажись, довольно.  
 А он криг:

биттэ  
 ххөрр  
 —григ  
 биттэ

бить так бить  
 кулакам не больно.  
 Бил я, бил  
 а потом—

БАБАХНУЛ—

Падал он,  
 мертвым, на брюхо бахнул,  
 Я, брат, вижу—  
 чу-удна папаха  
 Глядь—

а в папaxe,  
 кажись,

БУМАГА!

Стал я с папaxой ходить к комбригу,  
 Стал я под честь отдавать бумагу,  
 Бумагу—

читал комбриг, что книгу,  
 потом, брат,...

ОРДЕН ДАЛ ЗА ОТВАГУ.

Как стали мы с планом бить Петлюру,  
 В петлю

Петлюру всадили точно.  
 В Махно—махнули,

задрали шкуру,  
 и вот затяжан Тютюник прочно.

Давай тютюн, закрутить цыгарку  
 Теперь, брат, видишь, крепки Советы

А если тронут, так будет жарко—  
 Пойдут гудеть Реввоенсоветы.

Нынче—учим,  
 Отдых—нынче  
 Что ж до вазучки  
 Штык привинчен.

Белый взметят—  
 Дам по морде,  
 Будет третий  
 Красный орден.

## ЧИТИНСКИЙ СКОРЫЙ

П. Незнамов

А. М. К.

Читинский скорый гнал на запад  
 Полями, сопками, тайгой  
 И, если расценить на запах,  
 Запахло ширью— да такой,

Что даже грудь локомотива  
 Вздыхалась сильно и красиво  
 И птичий рой заверещал  
 Об изумительных вещах!

Посмотришь лес такого края,  
 Он—в золоте всех сентябрей  
 И золотом всех проб играя—  
 Монументален по заре.

Такой повырубл ка: легче!  
 Сто Франций выстроят суда  
 И можно бревнами по плечи  
 Раз двадцать завалить Судан!

Преувеличить не бояся,  
 Всю землю можно опоясать,  
 Коль испилить на шпалы весь  
 Огромно вставший этот лес.

...А он летел читинский скорый,  
 Он вырывался из лесов  
 И, словно получивши шпоры,  
 Влетел, как бешеный, в Мысовск.

Вы слышали такую песню,—  
 Почти пародию на песню,  
 Так заунывна и дика:  
 Сла-авное мо-ре священный Байкал...

Так вот в Мысовске, в ляг и грохот,  
 Где продирали мы глаза,  
 Байкал углом и как-то боком  
 Нам в поле зрения вдевал,

И вместе с ним,—с таким затором  
Из тесно сдвинутых громад—  
Влезал пейзаж, перед которым  
Женевский — просто лимонад.

Но не хвалите край: „он дивен!“  
Не смейте: он вам не из роз!—  
Он лучше: радиоактивен  
И весь курортами оброс!

И сам Байкал!.. Ведь вы слышали  
Про уголь вещие слова?!—  
Так угля белого в Байкале  
На миллиарды киловат!

И там, где взмыв, по за-горою,  
Байкал прорвется Ангарою,  
Предельно воды горяча,—  
Хоть ставь машины и качай!

...Но скорый, скорый — он не мешкал,  
Все дальше—дальше—дальше мча:  
7.000 верст — его пробежка,  
Версту — в минуту, 60 верст — в час.

Бежали села, водокачки,  
На миг ворвался Енисей,  
Под Красноярском — сосны, дачки,  
Шеренга лодок на косе,

Вставало солнце, снова гасло,  
Читинский скорый гнал, как мог,—  
И в страны сливочного масла  
Он нас степями приволок.

Заторы масла стоят рудных  
Заторов, — вот он клин Руси,  
Откуда множество маршрутных  
Уходит с маслом колесить.

Да, здесь вот, этими степями,  
Под поездов: та-та, та-та,  
Коль мне не изменяет память,  
Вскормился городок Татарск.

Промасленный, он жался к степи,  
А степь была везде, окрест,  
И здесь, среди великолепий  
Степных, — наш экспорт креп и креп.

Отсюда ж побежали нивы,  
Под ветра резкие порывы,  
На сотни — сотни — сотни верст  
На Павлодар, на Томск, на Орск.

И вплоть до самого Урала  
Нас провожали сотни нив  
И поле жатвы не терялось,  
Все поле зренья полонив.

И курс держа на элеватор,  
Под серп попавший урожай,  
Статьею вывоза богатой  
У ног Республики лежал.

...Но проще, проще! Стих тем крепче,  
Чем цель ясней, а цель проста.—  
За простоту, как жизнь за хлебчик,  
Все отдадут и все простят.—

Простую мысль, простую очень,  
Стихом я целью подсказать:  
В стране крестьян, в стране рабочих  
Богатства не оглядеть глазам.

И все, что есть, страна советов,—  
В полях ли, в недрах, на реке—  
Все крепко-накрепко! навеки!  
В твоём зажато кулаке.





## VI.

Когда ж развинчиваюсь на-ночь,  
 снимаю  
 кости по порядку,  
 скуду и ухо в формалин,  
 устраняю локти.  
 Со мною остается голова  
 — а в ней восьмушка мозга—  
 желудка два отростка,  
 кусочек легкого,  
 печеночный пупок  
 и сердце—  
 тикалка  
 на часовой цепочке!..

## МОСКВА—ПЕКИН

(Путьфильма)

## С. Третьяков

## Так сказал Ося.

— „Ты едешь в Пекин. Ты должен написать путевые заметки. Но чтоб они не были заметками для себя. Нет, они должны иметь общ-ственное значение. Сделай установку по НОТ и зорким хозяйским глазом фиксируй, что увидишь. Прояви наблюдательность. Пусть ни одна мелочь не ускользнет. Ты в вагоне—кодачь каждый штрих и разговор. Ты на станции—все отметь вплоть до афиш смытых дождем“.

Я понял. Я буду кодачить. Если говорит Ося — ему трудно возражать, у него шпага логики и утилитаризм. Я пошел в магазин и купил крепкий блок-пот формата печной заслонки. Так учит ЦИТ. А еще учит, что у человека должны быть часы. Увы, час в у меня нет. Не потому ли так позорно обманут мною журнал „Время“, ждавший моего расказа к 15-му февраля, в то время как я уехал 14-го...

## Ч а с ы.

Я возился над чемоданом. За мной возник человек. Он протянул мне плитку шоколаду в матерчатой обложке за пятью сургучными печатями и сказал —поднеся свой висок к моему конспиративно—„ценности“. Я долго потом думал, какие, и, наконец, решил, судя по формату—вероятно червонцы, у которых на два пальца бумаги в длину сострижено. А потом человек протянул вещьцу и сказал: „передайте товарищу Ша“... Это были часы. Потом человек ушел, а часы я надел себе на руку. Часы были обернуты бумажным пояском, но иногда заглядывая под него, я ухитрился узнать время. Так я стал эльвистом.

В Чите товарищ Ша... за часами не пришел. Их у меня взял подозрительный человек, остановивший моего извозчика в 4 часа утра. Я думал—он будет грабить и полез за бумажником. Он потребовал часы. Я отдал: чужие же. Он сказал, что отдаст товарищу Ша... Я поверил.

## 2 ч. 55 м.

Целуйтесь в это время. Через 6 минут будет поздно.  
 В минуту можно выработать 12 поцелуев о 5 чмоков каждый.

При больших (свыше роты) скоплениях провожающих можно организовать массовое производство до 60 чмок-поцелуев в минуту.

Целуйтесь загодя.

НОТ говорит—вообще не целуйтесь.

### М а х а й.

Звонок. Свисток. Скок на площадку. Оттуда остервенелые люди. Между вами—чемодан. Матербранка. Наконец вы оборачиваетесь и машете, чем мешете—неважно, ибо уже машете водокачке.

Не высовывайтесь глядя в свое прошлое.

Пройдите в купе. Вы начали новую жизнь—товаро-пассажирующую.

### К у п е.

Силой вещей я ехал в международном вагоне. В первый раз в жизни. Чтобы помочь еще не ездившим, но поедущим, скажу подробно. Международное купе поражает роскошью—оно сделано из войлочного бархата, палисандровой березы и чистопробной червонной меди. У него есть три культурных удобства: во-первых—постели не параллельны друг другу, а перепендекулярны, а поэтому влезть на верхнюю постель очень легко, если у вашего соседа достаточно твердый живот. (Старожилы говорят, будто бы когда-то в купе были лесенки. Надо думать эти лесенки целиком израсходованы Пролеткультом в „Москве слышишь“). Второе удобство—пепельница, не вертушка в стене, а как у приличных людей, тяжелая медная настольная. В ней помещается один барельеф и три окурка. Если вы курите на верхней постели, то окурки надо спускать в промежуток между стеной и матрацем, ибо мусорить в купе—ниже надклассового достоинства пассажира международного вагона. Примечание по методу НОТ—до спуска окурка, в него надо наслынить, во избежание пожара. Еще можно класть окурки на разные карнизы, только они на них плохо держатся. Пепел поступает в ботинки соседа. Третье удобство—умывальная закута с окнами как в соборе Парижской богоматери, находящаяся при купе. Никуда не надо ходить, вода под руками (и под ногами иногда), гигиена. Наша умывалка была всю дорогу закрыта. Говорят—вода замерзла. Неважно. Самое сознание, что умывалка рядом, делает тебя чище стерильного бинта. А четвертое удобство:

### Проводник.

(Скорее всего это даже не удобство, а достопримечательность вагона. Чаще всего он в состоянии деликатного раздумья, глядит на каплющий в коридоре потолок и размышляет вслух: „Не должно бы капать. И почему это каплет, никак не поймешь“. Проводник вагону человек глубоко посторонний и меланхолик. Название станций он знает назусть. Один из пассажиров, дачник, погнул себе язык, запоминая название станции, сообщенное ему проводником „актоезнает“, умиляясь чисто-итальянскому скопленнию гласных в этом полуазиатском имени.

Проводник-лингвист. Для каждого иностранца у него есть теплое слово—для немца „бэтмахен“, для англичанина „годишер“, для француза „сортир эвона“. А для русского проще: „Ежели вы гражданин мусорить будете, то я вас тремя рублями оштрафовать буду должен“.

Справка НОТ—проводник отпускает постели. Стоимость на три суток—1 р. 50 к. золотом. Кому дорого, берите с собой, но уже на уважение не рассчитывайте.

### Н е м е ц.

Как птичка в вороничке: востренький, русенький, мытенький. Когда я только ввалился в купе с вязанкой дальневосточной почты (см. выше) и грохнул эту вязанку на его чемодан и он сказал: „извиняюсь“ (по-немецки), а я сказал „ни черта“ по-русски, и он обрадовался спутнику понимающему его язык—то жена моя заметила уверенно—„Сергей из этого немца сделает нового левовца“.

Поезд двинулся. Мы уже разложили все чемоданы. Распределили койки. Мы уже были, как родные братья. Но немец, которому было видимо все время не по себе, откинулся назад своим чижиковым торсом и протянув ладонь, сказал—„познакомимся“. Причем произнес какой-то желательный звук (должно быть его фамилия). Звуча этого я так и не запомнил. Я тоже назвал—немец запомнил.

Засыпав этот последний ров, нас разделяющий, немец вступил в свои права вагонного соседа. Он коммерсант. Двадцать лет жил в Китае, пока в 17-м году его не выперли оттуда в качестве враждебного элемента. Сейчас он возвращается восстанавливать свое разоренное гнездо. Германские беды и голод он старательно замалчивает. Хвалит наш червонец, но не считает рентную марку ниже его. Вся беда по его мнению в том, что немцы разучились работать. О кайзере Вильгельме вспоминает плюясь, как об идюте. Он вполне согласен с социалистами, но требует постепенного социализма, и, конечно, за пределами своей земной

жизни. „Как же иначе, говорит он, вот к примеру мы коммерсанты, какое будет наше место в социалистическом государстве?—, Вас там не будет“, отвечаю. Он опарашен моей бестактностью. Я беру слово и начинаю ему рассказывать про современную Германию коммунистов и шиберов, карательных бунтов и рурской оккупации, фокстрога и мистического экспрессовозама. Я кончаю призывом. „Германия, даешь Октябрь!“ Он расстроган и задает мне в лоб последний вопрос. „Что бы вы сделали в Германии на моем месте?“ И я отвечаю не колеблясь: „То же, что и вы, ибо бытие определяет сознание“. На этом пункте рвется политика и начинается искусство и быт.

Немец, захлебываясь, читает Франка „Der Bürger“. Этот роман с его точки зрения раскрывает небывалые глубины человеческой мысли. Немец натура художественная, он занимается пластической гимнастикой по Далькрозу. Я этого не могу стерпеть, я—только что научившийся с Эйзенштейном немца Бода, который говорит о выразительной гимнастике и поносит ритмическую. Я выстреливаю в немца весь запас моих гимнастических знаний и убеждений. Он потрясен, но не сдаётся. От теории мы переходим к практике. Позой человека рвущего ягоду с земли через забор, он демонстрирует пластику. Хватательными движениями и подставкой свободно пенделирующих ног под падающий корпус иллюстрирую я выразительность. Упавший чайник, кладущий начало небольшой и несудоходной речке, ставит точку дискуссии.

### О воспоминаниях.

Нехорошо издеваться над нежными чувствами.

Я и не издеваюсь. Я только фиксирую.

На полке стоит немцын чемодан. Он его снимает четыре раза в день до еды.

Открывает. Содержимое закрыто большущей фотографией лицом книзу. Он берет фотографию, смотрит—там изображено его семейство. Потом снова закрывает ею белье и с моей помощью водружает чемодан на вышку. Иногда отложив карточку, он перебирает коробочки с патентованными средствами и долго прочитывает то, что написано на этикетках. Каких только нет коробок—от слабости, волнения, запора, поноса, насморка, слезотечения, лихорадки, размягчения костей, склероза. Немец не ест их, он только смотрит. А я думаю о нежности его жены, которая купала ему эти пилюли и таблетки. В дороге мол скупает со скуки и станет новеньким и исправным, как свежий велосипед. Я жалею, что он их не ел.

Он ел только сметану, которую покупал на станциях.

### Русские нравы.

Проводник устроил кровать. Немец перевернул матрац и стал его изучать.

В левой руке у него пульверизатор в роде автомобильной сирены.

„Мне,—говорит он,—сказали, что ездить по России,—это значит быть едою клопов“.

— „Извините, наши клопы немцев не едят“, обиделся я по-русски.

— „Представьте себе, я уже 15 минут ищу и ни клопа, ни блохи, а мне дано два фунта порошка от насекомых. Зря пропадает“.

„Надо клопов было захватить, чтоб зря не пропадало“, огрызаюсь я.

Такие события поднимают национальное чувство гораздо более, чем кустарно-промышленные выставки с лопарскими руководителями из моржевых костей<sup>1)</sup>.

А как был немец счастлив, когда некий иностранец, через два купца от нас обнаружил блоху. На блоху был выслан весь порошок и она, не успев отравиться, погибла в этой куче от удушения. А сверху кучи лег счастливый иностранец. Гораздо сложнее было положение немца и других иностранцев, когда в вагон-ресторане у них отказались принять американские доллары в уплату за обед и потребовали червонцев, которых у них не было. Я живо представил себе это ощущение—набит карман бумажками, лучшей в мире валютой, и вдруг, как под декретом Совнаркома эта валюта превращается просто в смешную пачку клочетных бумажек. И видел как иностранцы заключили свои губы в скобки гордых морщин, презрительных и возмущенных. Это же варварство не брать лучшую в мире валюту! Но буфетчик был непреклонен. Потом иностранцы бегали по вагону и искали Ильинку. Таковая нашлась. За пять долларов был дан червонец (куртаж—за безвыходность положения). А что поделаешь? Либо кушай пилюли от запора и сиди с долларами—либо ищи червонцев. Тоже „ножницы“—в России без ножниц нельзя!

### П у т ь.

Поезд идет чинно и точно. Сломается болт—починят и начинают нагонять опоздание. В Москве меня пугали заносами. Заносов нет. Бег поезда откидывает назад поля и леса, губернии и дни. Станции чинные и молчаливые. Я

<sup>1)</sup> К сведению тов. Сосновского, пришедшего от этих скульторов в раж.

помню ехал в последний раз этим путем в 1921 году; было страшное голодное время, станции стояли о хлебе, оскал сыпняка клячал в запахе карболки и белых известковых затеках вдоль рельс. Была напряженная лихорадочность в движениях распоряжающихся людей, настороженность в постоянно мелькавших красноармейских шишаках. Штык был такою же принадлежностью пейзажа, как зонтик в дождливую погоду. С витрин агитпунктов гудели еще плакаты, давнишние военные плакаты о панах, бандитах, о заразах.

Сейчас нет.

Ося говорил — «афиши смыты дождем». Я высказывал десятижды — нет афиш, смытых дождем, вообще я не видел афиш. Даже плакаты о сахарном займе я видел редко. Санитарные плакаты также редки. Правильно — чего вопить, когда надо фактически поддерживать чистоту и она поддерживается. У станционных помещений вид чистый, подобранный. Платформы подчас даже кокетливо чисты. Агитпункты вымерли. Вместо них стоят киоски контрагентства печати с обстоятельными жевщицами, называющими нехорошие рублевые и несколько-рублевые цены книг. И на киосках идет классовая борьба — с одной стороны Главполитпросветские, комсомольские и Госиздатские издания — агитлитература и обстоятельная экономическая, и с другой стороны, — путевая лектира. (Мир приключений и близе с ним, Круговцы, Замятин и прочее чтиво — книги, которые надо печатать на самой дешевой и мягкой бумаге, ибо этих книг беречь не стоит; они как бумажные воротнички годны только на одну носку).

Должен отметить, что перед нашими СССРскими дорожными киосками, заграничные — это такое убожество, которому даже в блатном словаре имени нет. Не говоря уже о киосках по Южно-Манчжурской жел. дороге, где, кроме английских «мэгезинов» — иллюстрированных журналов вроде нашего Аргуса и журналов мод, — ничего нет. Но и киоски по Кит. жел. дороге, продающие русскую литературу скорей напоминают жалкого пропойцу, которому уже нечего сказать: несколько детских книг с кукольными баби на лакированных обложках, хороший заряд черносотенных газет, Чехов и Лейкин берлинского издания и целые груды книг неведомых писак, то с сентиментальными названиями в роде «Без счастья», «Последние огни», то с белополитическими заголовками, в роде «Мученики таежного похода» — специальный вид унылой золотопогонной романтики и армейского пафоса. Места изданий — София, Белград или Одесса еще того периода, когда белые не были сброшены в Черное море. Одна только книга бросилась в глаза, ассоциацией с Москвой — С. Бобров. «Спецификация идитола», германское издание. Неуютно Боброву там на харбинском вок-

зальном прилавке и лежит он там сырый и перманентно единораземплярный. Как мне удалось выяснить в Харбине — аренда киосков по железной дороге Госиздатом или Дальневосточным книжным делом (бывш. Госкнига) дело вполне возможное.

Извиняюсь — я забежал вперед тысячи на четыре верст. Возвращаюсь.

Вдоль вагонов бегают мальчишки, просят старых газет (особенно на мелких станциях) на курево.

И стены внутри станций поселили. Коммерция и производство. «Сибторг», «Крайпромбюро», «Экспортглеб», «Хлебопродукт». Объявления солидные, увесистые, — как лица хорошо выбритых негоциантов, и говорят эти объявления не истошным воем, рывом и визгом Маяковских агитплакатов или пришибленным стоном наивных местного приготовления листовок, — а упитанным бархатным басом.

Мой немец донимает станционные буфеты требованием черной икры, — он ее не успел купить в Москве. Но, увы, ему суждено не вывезти с собою этой экзотической нашей достопримечательности, о которой он говорит с таким почтительным восторгом, как мы, например, о супе из ласточкиных гнезд.

На станции Новониколаевск разминаю ноги по перрону. Тепло. С московским холодом, конечно, началась сибирская теплынь. Через барьер висит мальчонка. Затеваю разговор:

— Что смотришь?

— Поезд.

Правда, видит он от поезда только кусок багажного вагона, ибо болтается он на перилах в довольно сжатом заданиями проходе.

— Зачем смотришь поезд?

Вопрос явно глупый. Такой вопрос может задать только разминающий ноги путешественник с затекшей головой. Но оказывается, что вопрос не глуп.

— Учительница велела.

— Учительница?

— Ну да. Мы потом на него сочинение писать будем.

— Так ты бы поближе подошел.

Но он не удостоил ответом и устоялся в видимый ему угол багажного вагона со всем доступным ему вниманием, прилежанием и поведением.

Потрясенный по линии Наркомпроса, я пристал к бабе, сидевшей на санях за вокзалом:

— Что это у вас церковь такая корявая.

— Церковь?

Баба попыталась повернуть лицо к церкви, но одежа, в которую баба была увязана, воспротивилась. Тогда она дви-

нула на меня глазами (остальное не поддавалось, будучи нацелено на лошадиный хвост) и сказала:

— Какая есть, такая и стоит.

Антирелигиозный вопрос повис в воздухе, мой главполитпросвет спасовал.

А из багажного вагона выгружали тюки газет, книг, очередной запал, подкладываемый Москвой под города и села, очередную порцию пищи для сголодавшихся провинциальных мозгов. Она же очередной запас бумаги на самокрутку.

### Что делать?

Книга прочитывается быстро. Писать можно, но разве только спец по параличным сифилитикам разберет ваш почерк. Соседу вы приедаетесь быстро, особенно, когда обнаруживается, что ваши убеждения не пересекаются ни в одной точке пространства, а спорить скучно, ибо этот спор (в купе международного вагона) никак не может кончиться, ни руганью, ни дракой. Спать 24 часа в сутки трудно, тошнить начинает, и спина чувствует себя, как подошва солдата, стоящего на часах. Что делать? выход есть. Есть преферанс, до отупения, до потери всякого обличия. (Этим я не согрешил).

Есть шахматы (о них ниже).

Можно поиграть.

Для человека, любящего покушать,—путь Москва—Чита это проход в верхних торговых рядах.

Станция Буй. Покупаются сыр. Ночь. Фонари. Заспаные люди покупают бомбы сыра и прячут их у окон (где похолоднее). В международном вагоне их особенно удобно сберечь, так как окна имеют войлочный передник. Только в очень редких случаях сыр вываливается из-под этих переников в плевательницу.

Какая-то станция перед Вяткой. Страшный крик в роде самосуда. Люди продают корзины, только корзины, совершенно пустые. Снег скрипит, корзины скрипят, люди кричат, срывающая голоса: „Корзины хороши. Корзины. Купите!“ И есть, которые покупают и волокут в вагон и после всю дорогу маются.

Вятка — любые изделия из дерева, карельская береза, туфли, мундштуки, игрушки. Обычно покупают пару лыковых туфель, в которых нельзя ни ходить, ни бросать окурки.

Екатеринбург — камень. Аметисты, топазы — все разноцветное, прозрачное, блестящее. Овальные полированные брошки, каменные мундштуки, об которые ломаются зубы. Здесь главным образом покупают женщины — кольца, сережки, брошки и просто камешки. Мужчины покупают

искусственный гротик, склеенный из разнких кристаллов. Иногда у этого грота бывает термометр.

Омск и все, что около него, — масло. Кирпичи, глыбы, столбы масла. На этом перегоне люди жиреют, жиреет и их платье. На этом перегоне очень часто моют руки.

### Путешествие на луну.

До луны от земли 360000 верст.

Он сделал уже 180000. Он уже на полдороге. Ему бы пора остановиться, закусить, полюбоваться природой, ну там метеорами какими-нибудь, за кометин хвостик подержаться. Но он не может, у него мандат и заграничный паспорт, толстый, как молитвенник. Но в этом паспорте визы на луну нет.

Короче — он дипкурьер, и зовут его мистер Блинч (а если вежливо, то — блинчик). В действительности его зовут совсем иначе; но такая карточка оказалась прибитой к его купе на Южно-Манчжурской железной дороге, и проводник японец уверил, что Блинч — это самый и есть.

Можно ли описать мистера Блинча? По НОТ'у его не опишешь, по НОТ'у у меня, например, нос обыкновенный — что тут скажешь. Он (не нос, а мистер Блинч) смолокур, мускулист (три пуда одной рукой рвет) лицом... о лице его мой немец долго бормотал что-то похвальное с точки зрения живописи. Блинч был в Америке, играл в кинематографе, был компсаром Ковармии, и вот ныне он путешественник на луну. Если он еще не ездил в Аргентину, Австралию, на Южный Полюс, то только потому, что там нет еще СССРских представительств, но... шлюзы признания открыты Макдональдом, и недалеко то время, когда Мистер Блинч будет шагать по лунным кратерам с колоссальным, совершенно невероятным (с таким в сандуновские бани ходить) портфелем, наполненным диппочтой за семью печатями. Он меня потряс немедленно: во-первых, когда я ему представился и сказал, что буду ему сопутствовать до Пекина, то он меня окинул таким провозительно-подозрительным взглядом, что я почувствовал себя, по меньшей мере, заграничным шпионом, злоумышляющим на его почту. Лишь верст через триста соизволил почувствовать мистер Блинч во мне союзника. Во-вторых, он меня прозвал предложением — организовать ком'ячейку поезда и в-третьих — устроить литературно-вокальный вечер для поезжан в вагоне-ресторане. Проекты эти не осуществились. Зато произошло другое, а именно — беспенный, перманентный шахматный матч между мистером, его спутником и мною. У нас не было шахматов — мы их крали у бурятского предсовнаркома, он приходил к

нам за шахматами,—мы его сажали за них и обыгрывали. Мы крыли шахом, крыли матом. От тряски короли лезли на тур, пешки занимали странные места, в которых долго надо было разбираться, восстанавливая расположение. Мы делали ходы медленно и напряженно и с веселым визгом брали их назад, заметив ляпсус. У нас были партии по 10 верст, были и по 80. Чемпионат вагона вял я и был столь горд, что готов был играть по радио с Ласкером. Мы мечтали, ступивши на твердую землю, купить самоучитель шахматной игры и играть теоретически. И стало грустно нам, когда в Верхнеудинске бурятский предсовнарком унес шахматы. Мистер Блинч правильно заметил: „идиоты! Надо было в Вятке шахматы купить!“.

Когда поедете на Дальний Восток—купите шахматы в Вятке. Это не лирика—это НОТ. Так сказал Ося.

### Байкал.

(Видовая).

Опоздание: в Иркутске чинились. Едем ночью. Ничего не видно. Белесый горизонт и все. На одной из остановок улавливаю оживленное волнение в коридоре. Выхожу. С луной явно неладно. Висит, как медная пуговица, да еще густо закопченная—совсем керченская сельдь. Своя копоть багровый кровавый проблеск. То-то бы раздолбе символисту ахнуть совет о том, что тень земная и до луны отбрасывает пороховую копоть и кровь. И вдруг с края этого мутного пятна обозначился острый, тонкий электрически-блестящий серп—луна вылезала из погребца. Затмение на солнце. Обозначился холодный, белый, стылый Байкал, а справа взмахи гор, на морозе особенно острых, особенно хрупких—подстать снегу, скрипящему дубленой окоростовелой подошвенной кожей марки „Дуб“. А в это время китайцы ходили по Харбину, нося статуи идолов, и колотили в медные гонги, чтобы прогнать дракона, заглотившего луну, по их мнению.

И пошли чесать пулю в дула туннелей. Влет—грохот сперт в каменном коридоре, ломится в вагон; вылет—и грохот нежнейет, растрезвониваясь в воздух и улетаая над Байкалом.

### Верхнеудинск.

Кончились билеты, надо брать новые, передавать багаж. Цены билетов резко скачут вверх. Международный до Читы обходится около 40 рублей. Поэтому все между народники перебираются во 2-й или 3-й класс. На Дальнем Востоке вместо двух сортов мест: жесткое и мяг-

кое—пять: 4-й, 3-й, 2-й, 1-й класс и международный. Цена 4-го примерно равна нашему 3-му, а дальше идет скачка по огромной пропорции. Хорошо еще, что теперь можно будет брать прямые билеты на Манчжурию, а не отдельно до Читы, а затем в Чите до Манчжурии. Такой сквозной билет обходится раза в 1½, дешевле двукратного. Такая ломка пути крайне неудобна, о ней много говорят, но пока ничего не сделано для возможности прямого сквозного проезда.

Верхнеудинск—столица бурятской ССРеспублики. Бурятия строит свою страну, которую нещадно спаивало царское время, наградившее бурят 50% триппера и 70—сифилиса. Бурятия сейчас строит школы и кооперируется.

В складчину по пуду муки везут по 100 по 200 пудов в город из окрестностей и требуют товаров за этот паевой взнос.

### Пейзаж.

За Верхнеудинском сопки точно на ярмарку собрались. Протискиваемся между ними. А они уже не русские. Здесь уже чувствуются монгольские, китайские, японские очертания гор, крытых соснами, врезанными в небо, гор, выскакивающих почти отвесно из долины, совершенно плоской, как теннисная площадка. Особенно это становится характерно, пожалуй даже чудно, в Манчжурии, когда едешь от Харбина к югу. В одно окно вагона степь в роде черноморской (и китайцы в арбах запряженных волами), а с другой стороны с версту та же степь, но замкнута она забором гор. И четко, точно на уроке географии, ползут, куда полагается, чисто вытесанные из камня горные хребты. Средине ночи. Переваливаем Яблоновый хребет. Поезд буквально лезет на стену, задыхается. Слабосердные в вагонах тоже задыхаются. Перевал. Дальше спуск, что на салазках. Фьюу—держи! Поезд катится так весело, что в нескольких местах устроен специальный тупик, взлетающий вверх. Если поезд у начала тупика не остановится и не докажет своей выдержки (за что ему откроют путь дальше, на Читгу), то он ворвется в тупик, вскатит на гору, а потом назад опять на гору и так пока не остановится.

### Чита.

Берегитесь Читы. Во-первых, здесь вас ночью высадят из поезда (экспресс идет только до Читы), а затем, заперев все двери и щели в окрестных заборах, начнут пропускать в одну единственную багажную шель, где взвесят вашу кладь, и горе, если у вас будет более двух пудов—с вас

возьмут сбор, а вдесятеро горе вам, если у вас пудом или более выше нормы—с вас взыщут десятикратный штраф. Удивляет только то, что об этом правиле узнаешь лишь около весов. Почему бы НКПС не объявить об этом повнятнее соответствующими наклейками в вокзальных помещениях и на стенах вагонов? Недоразумений было бы много меньше, и едущие соразмеряли вес своих чемоданов с правилами заранее.

Отмечаю еще одно. На Китайской ж. д. есть правило, что если пассажирский поезд приедет на конечную станцию ночью, то за три рубля пассажирам разрешается дозачевать до 9 часов утра. Особенно это важно было бы в Чите, где гостиниц мало, они переполнены, и куча транзитных путешественников мечется на извозничьих колесницах от гостиницы к гостинице в предрассветном забайкальском морозе, хватающим вас, что там за нос да пальцы?—прямо за живот сквозь все одежды своими лягушачьими пальцами. Наконец, путешественники засыпают где-нибудь в проходе на оконной раме, чтоб через 12 часов ехать дальше. Я сам был свидетелем как двое иностранцев (в том числе мой немец) упорно и долго убеждали выскочившего в одной жилетке хозяина гостиницы пустить их—кончилось это впуском их в гостиничный коридор, по которому они гуляли до утра, репетируя статую командора. Чита все та же. Зимой песок, летом песок. Кругом сосна. Сама—со сна. Над ней величаво веют крылья вечности и гордое воспоминание о тех великодержавных временах, когда она была столицей могущественного государства, название которого умещалось в три буквы—ДВР. Сейчас самое воспоминание об этом государстве, с единственным функционировавшим в России Учредительным Собранием, (под литературными диспутами, на которых шла грызня за и против Маяковского в 1922 году зал этого собрания функционировал гораздо более оживленно) изглаживается из памяти старожилов, исчез с площади даже двухсаженный глобус, водруженный там в шестую годовщину Октября, глобус замечательный тем, что на нем не было Японии (художник то ли не рассчитал масштаба, то ли свел с этим дальневосточным ястребом горькие дальневосточные счеты).

Я глядел в песочное заляпанное вывесками по главной улице (на остальных улицах растут сосны) лицо Читы с тем глубоким чувством недоуменной нежности, с которым смотрят на трупик любимой тетушки.

Как забыть такие читинские казусы, как Учредительное Собрание, в котором фракция церковных приходов делает Правительству запрос: „Известно ли председателю, что тов. министр состоит идеолог футуризма Третьяков, и не означает ли это, что в школах взамен упраздненного закона

божьего будут преподавать науку о футуризме?“ Или, поднявшись во весь рост, длинный с лицом пророка Елисея („я был лысым“), возглашает представитель баптистов: „Известно ли председателю, что прошлым летом на Зее громом убило 7 коммунистов, и не видит ли он в сем перст божий?“

Теперь Чита нормальный советский провинциальный городишко, в котором скоро будут жить только жители, так как последние административные учреждения переводятся в Хабаровск. Непереезд их до сих пор объяснялся японским землетрясением. Какая связь между этими двумя вещами за недосугом не выяснил. Еще есть в Чите иностранцы и харбинские комиссионеры. Они по инерции наезжают в столицу купить—продать, но так как монополия наглухо зацелкнула границу для чистой торговли, то они по той же инерции сидят в гостиницах, поварчивают и лупятся в карты часов с восьми утра. Такую харбинскую пару я видел своими глазами: на них были очки с добрый велосипед, голова впряжена в эти очки двумя роговыми оглоблями, в зубах трубки, пиджаки в талию и лица—ну, вылитые два Пильняка, до такой степени эти лица были английские! Молча лупили по столу королями и тузами, а затем тасуя колоду один произнес: „Вы волку вчера пили?“ с самым добрым харбинским произношением. Чуть не забыл—на Дальнем Востоке в наследие от великой державы ДВР осталась еще водка самая сорокаградусная.

Сообщаю для сведения (сам не пью, так что мне это безразлично).

### Перешаг.

Уже снежная с выдутыми ветром нескошинами—степь.

Мимо—Даурия и другие еще пахнущие кровью семеновских нагаек станции. Мацневская—проверка документов. Мой немец висит на волоске—его документ истекает сроком через несколько часов. Притих. Пронесло.

Таможенный досмотр. Вопрос: не везете ли пушнина и золотой монеты? Никак не переведу немцу слова—пушнина, тычу в баранью подкладку моей куртки—немец не понимает. Мне смешно—таможенникам подозрительно. Окончилось и это. Через 15 минут Манчжурия. Степь уходит туда, в даль, в пустыню Гоби. Длиннейшая в самый горизонт вколывшаяся канава—граница Китая и России.

### Манчжурия.

На перроне китайские солдаты в сером и офицеры, на которых кофты-кителя животом вперед и узкие в плечах. Поперечные погончики-перемычки. У дверей вагона караул.



По перрону охрана КВЖД, точные городовые—черная шинель, селедка, фуражка с каким-то капустным листом над козырьком. И физиономии—что надо. Белая гвардия.

Пощенный русский—чиновник китайской таможни с офицером-китайцем просматривает паспорта. Пока весь поезд не осмотрят—не впустят. Знакомый нос расплущился, как стеариновый, с перрона в окно. Объясняем руками. Теперь в вагонах не досматривают клади—идите в зал, там длинные потрошительные столы. Растет гряда дипломатических за печатями корзины мистера Блинча. Мистер бросает пренебрежительно-спокойные слова „Изс“. Китайцы гадают, жмутся к корзинам, вертят печати. Я чувствую, как в лице буденовского военкома здесь, среди шныряющих белогвардейских шпионов, сама СССР непоколебимо и спокойно оберегает неприкосновенность своего герба.

Меня тормозили недолго, но подозрительно. Вся заботливо сложенная труба разворочена, как кишки ядром. Из-под белья извлекают книгу мою, стихи и долго вертят подозрительно. Ищут журналов. Ищут не столько для пресечения пропаганды (какая уж тут пропаганда, когда левые харбинские газеты полностью воспроизводят статьи и снимки из московской прессы), а просто журнальчики посмотреть хочется. Я потом в комендантской видел, с каким азартом китайские солдаты и таможенники рассматривали картинки в „Красной Ниве“, „Огоньке“ и „Прожекторе“, а особенно снимки с похорон В. И. Ленина.

С деньгами опять неладит. На дороге ходят и доллары, и иены. Китайский доллар—даян несколько дороже японской иены (на пятак примерно), но касса станции примет всякую иную, кроме доллара, валюту с хорошей выгодой для себя. А разменной кассы нет. А в буфете уже идет иена, и долларами платить невыгодно. Дальше в глубь Китая этот финансовый вопрос осложнится еще более, но об этом впереди. Сквозной билет до Пекина—128,85 даянов, а 2-го—66 с лишком. Есть и обратные билеты—их цена вдвое, и скидка 20%. Ждать в Манчжурии всего 2 часа. Наложена китайская штемпель на паспорт, выскан полтинник и—катись на Восток.

Я не знаю, есть ли на свете поезда чище, чем на Китайской Восточной ж. д. Везде половички. Медь сияет, радуются, клозеты, как алтари; проводник, у которого пуговицы больше, чем красных кровяных шариков, бесшумно проходит то-и-дело чтоб поднять брошенную каким-нибудь троглодитом спичку, ниточку, соринку, если только ее можно увидеть простым глазом. Почему такая чистота? А, может быть, потому, что, кроме этого, дороге сейчас нечем и заниматься? Она—как пересохшее русло, какая-то железнодорожная слепая кишка. Ведь, она—мост между Москвой и Владивостоком. А теперь, до поры до времени, этот мост объезжают в брод по Амурской дороге.

## КВЖД.

Вместо валенок—мягкие туфли. Вместо нагольных тулупов—юбки китайских синих и черных халатов. Вместо панталон—полушария тубетеек с шипечкой, вместо кудли бородастых реснички усов, а то и гладкое безусье под пологим точно к лицу приотпанным друствольным монгольским носом.

На станциях поезд встречает редкая цепь караулов. Это чжанцзюлиновские солдаты—лучшие в Китае, потому что они хоть одеты (а то под Тяньцзинем мне приходилось встречать солдат в долгополых халатах—только погоны да фуражка форменные). Значатся они на станциях для защиты от хунхузов. Хунхузы же это по существу китайское Запорожье; только раскиданное повсюду. Китайская армия первый поставщик живого люда в хунхузские отряды. Лето—солдат идет в хунхузы. Зима—он возвращается в армию. Разница только та, что, будучи солдатом, он крайне робок и небоеспособен, в хунхузах же он храбр и отважен, как зверь.

В вагон садится важный китайский чиновник, при нем сопровождающие китайские полисмены—пояс утыкан патронами: с одной стороны, деревянным окошком маузер, с другой—браунинг. Говорят, что этак вооруженные люди при нападении легко гибнут: выбор оружия огромный, а за что ухватиться не знают.

Входят еще китайцы—видно из степенных купцов или чиновных выжиг. Увидев знакомого, смыкают ладонь в ладонь (рукопожатий у китайцев нет) и отваливают три поклона.

Японцы, одетые в европейское, отчего они еще меньше ростом (и так с 9—10-летнего парнишку), в особо высших крахмальных еоротничках, гурьбой проходят в вагон-ресторан.

Кормят дешево и сытно за 60 сен (сена—чуть поменьше золотой копейки). В движениях лакеев, жонглирующих посудой, то рефлекторное холуство, которого в России с 1917 года ни в каком, самом даже паскудном, вертепе уже не встретишь.

Газеты—„Заря“, „Русский Голос“, „Свет“ и (который уже год) упования черносотенных передовиц на то, что в будущем году обязательно въедет в Россию какой-нибудь профессионал-претендент, пусть даже не на белом коне, а на велосипеде, но только въедет. Не в пример 22-му году Роста даже без комментариев уже занимает в этих газетах изрядное место. А дальше пестрят объявления о гастролях, кабачках, спектаклях. Газеты разрываются, устраивая бум той или иной „блестящей звезде театрального горизонта“.

При чем изобилуют такие объявления—„Интимный вечер настроений и лирических переживаний“ №№ усладят харбинскую публику своими чарующими мелодиями. Дамам вход бесплатный“. Ничего не поделаешь—приходится прятать голову под подушку „изящных настроений“, а уши окунать в „бархатные мелодии“, чтобы не завять голодным безнадежным псом на голую луну бесстыжей и жестокой правды.

Валезаем на Хинган. Высоко, холодно, звездно. Опять прокол туннеля, и поезд быстро скатывается в долину по знаменитой петле (как велосипедист по склону трека), делая полный круг и выскакивая на волю в проход под насыпь, по которой он только-что грохотал.

### Харбин.

Он сейчас спит тяжелым коммерческим сном. Он ожирел от товаров, но их негде продавать. Витрины полны, склады забиты, а денег нет—монополия Внешторга и непризнание СССР держит Харбин за горло. Это город дешовки.

Великолепные ботинки за 5 иен. Мужской костюм за 20 иен. А к новому году лопнуло до 90 китайских фирм. Русские харбинцы питаются плохо—больше слухами.

Так, меня всерьез спросили: „Верно ли, будто после смерти Ленина Буденный с армией обложил Москву и требовал сдачи?“—Какой сдачи, для чего сдачи, чьей сдачи?—„Вот мы и сами,—говорят,—не пойдем“. Мне стало вдруг очень весело.

А другой харбинец, очень лояльный по отношению к СССР человек, вполне грамотный и ежедневно читающий газеты, отведя меня в угол от знакомых, которым я рассказывал о России, спросил честно и напряженно: „—а теперь скажите по совести, никто не услышит, крепко вы голодали“.

И когда я снова засмеялся, то понял, что в его глазах я почти святой, герой и мученик, который даст себя зарезать, но ни за что не поведает тайны о том, что в Москве едят что-нибудь так разве сушеных мух по воскресениям.

Моссельпром! Слышишь?!

### Погромить прикажете?

В день моего приезда Харбин был в панике, ожидая китайского погрома. Китайцы вели агитацию против начальника дороги Остроумова, ходя демонстрациями, и требуя его удаления, а заодно покрикивая что-то и вообще о купании русских в реке Сунгари. Подоплека этого „народного

движения“ состоит, как мне передавали, в том, что мапчжурский диктатор, обеспокоенный возможностью признания СССР Пекинским правительством и перспективой учреждения советско-китайского управления дорогой, решил спешно китанизировать дорогу де-факто, сместив Остроумова и тем отрезая советской власти путь к участию в управлении дорогой.

Почему?

А стоит только вспомнить, что дорога—приют всех бело-гвардейцев—и активных и пассивных. Рабочих выгоняли со службы, чтобы посадить на их место офицеров. А те убыточные перевозки войск и грузов, которые дорога производила по приказам Мукдена? Контроль Совроссии над дорогой—это прежде всего, неизбежная чистка, а во-вторых, обнаружение воочию всех белогвардейско-япсенско-мукденских махинаций, для которых она была надежнейшим трамплином, начиная с 1918 года. Организовать „народный гнев“ было нетрудно. Одни разоренные китайские фирмы, обычно состоящие из 10—15 мелких пайщиков, давали кадр демонстрантов до 1500 человек.

Услужливые руки собирали эти толпы, услужливые рты говорили зажигательные речи, обвиняя Остроумова в гибели китайской торговли, те же рты посулили по двугривенному на рыло и угощение.

Но каков же был скандал, когда, вернувшись после демонстрации, „народные негодovatели“ констатировали отсутствие и двугривенных, и угощения.

Пять дней молчали харбинские китайские власти в ответ на тревожные запросы русских и лишь после решительных настояний, разродились объявлением о том, что граждане могут спать спокойно.

### Кальсоны.

(Китайская драма).

Действующие лица: две пары кальсон, фуфайка, пролавица галантереи, китаец-сапожник и путешественник. Место действия—харбинская улица. Путешественник покупает кучу вещей и тащит их двумя пакетами. Путешественник сторговывает у сапожника ботинки, но их надо чуть растянуть, что продлится 20 минут, а поезд идет через час, а покупки еще не все сделаны. Путешественник оставляет два свертка у сапожника, идет покупать еще кучу вещей и с оказией отправляет их прямо к себе на дом для укладки в чемодан. Путешественник возвращается к сапожнику и обнаруживает исчезновение свертка с двумя парами кальсон. Китаец, взявший свертки на хранение, сооб-

щает, что сверток (вероятно, по ошибке) взяла только что заходившая дама. Путешественник честно трет лоб и вспоминает, что в свертке было две пары кальсон (хорошо еще, что не дюжина золотых часов). Китаец идет с путешественником в Кальсонторг, платит за две пары кальсон и уговаривается с магазином, что в случае если женщина, взявшая кальсоны—честная, то по возврате магазин их примет и вернет китайцу деньги. Магазин в восторге от такого систематического покупания кальсон и делает ему скидку на все 4 пары кальсон. Покупатель делится скидкой с китайцем. Потом покупатель панимает драндулет-двуколку, везомую лошадью, ростом и косматостью равную псу-водолазу, и выкачивает свою душу динамичнейшим (4 дрыга в секунду) урбанистическим ритмом драндулета, медленно мчась к своим чемоданам. Путешественник садится в вагон, разворачивает свертки, дабы наслаждаться чувством собственности и обнаруживает у себя 4 пары кальсон и ни одной фуфайки.

Результат: путешественник без фуфайки.

Китаец без кальсон и выплаченных денег.

Даму подозревают в сокрытии кальсон и замене их дешевой фуфайкой.

Магазин с чистой прибылью за четыре пары кальсон.

Занавес. Доклад Шкловского о свертывании, завертывании и развертывании сюжета.

### Комбинат из трех.

Харбинец задает вопрос:

— У вас в Москве поэт Владимир Виленский считается выше Маяковского, или наравне?

— А что?

— Так вот, недавно тут он лекцию читал о русском искусстве, а потом стихи декламировал. Харбинские мамы на него в претензии, потому что он специальное неприличное стихотворение читал такого примерно смысла: „харбинские девушки приходите ко мне по такому-то адресу, я принимаю от стальных часов до стальных“. Так харбинцы думают, что Маяковскому до него далеко.

Обычная история с провинциальной халтуркой и расхожим эпатажником пятиконечного свойства. Воображаю какое это было русское искусство, показанное Харбину. Обставлено дело было по всем правилам—газеты заранее трубили о том, что едет: „Единый Комбинат Российских Мастеров“. (Если я немного перепутал названия—думаю, что Виленский же преминет исправить в письме в редакцию; однако, за „комбинат“ и за „мастеров“ ручаюсь.

Комбинат этот был из трех: Виленский и еще два существа—одно цело, другое играло. После вечера Виленский проследовал дальше, а существа осели в Харбине и, надо думать, занялись „интимными настроениями“ и „бархатными мелодиями“. Тяжело теперь придется Маяковскому, если вздумает приехать в Харбин.

Что ему останется сказать харбинским девушкам? Чем ему потрасти харбинских мамаш?

### На юг.

Отвалив от Харбина с его дымчыми фабричными трубами заваливающегося за бугор горизонта, едем манчжурской равниной. Китайские мызы обнесены высокими стенами. Еще выше—стены иностранных концессий, плантаций и заводов. Берегутся от хунхузов. Здесь заселенность небольшая. Мызы стоят редко, деревень не видать. Здесь еще крепкая зима, но солнце бьет в окно вагона, как апрельский озорник.

### Чань Чунь.

Проверка паспортов. Смена поездов. Несем баулы на вокзал, сросшийся с гостиницей так, что дальше не разберешь, где кончается вокзал и начинается гостиница, косящая имя Ямато-Огель. Баулы дикпурьера немедленно примагничивают к себе двух русских шпииков с отнюдь не милovidными физиономиями. Подняв воротники, они недоступны—попробуй зазеваться над портфелем! Мистер Блинч вспоминает прешлогодные попытки, когда подобные субъекты относились к нему не только созерцательно. Был случай, когда они осаждали его пока он завтракал, один с тыла, а другой в лоб, держа руки в кармане и выжидая удобного момента для нападения. Пришлось мистеру встать и, поиграв мышцами, тоже сунув руку в карман, перейти в молчаливое контр наступление—удалились. А другой раз пришлось вынужд и положить на стол браунинг—субъекты зауважали и вычистились вон. Пытаемся поужинать—разговор только по английски, да и то бой-лакей японец поинмает его лишь в пределах названий блюд. Сидящий неподалеку тучный русский орет бою—„хам“. Вы думаете, он ругается? Нет, он требует ветчины. Поезд подан. Вносим вещи в вагон—темно. В углу копошатся субъекты. Вагон без купэ, спички у диванчиков низкие, на диванчиках (можно вытянуться) полагается по одному человеку. Между каждым двумя скамейками—большая плевательница—плюют здесь много, часто и с азартом. Проходят японцы—

107 051

у многих на носу ватный треугольник — это маска от заразы, главным образом от инфлюэнцы-испанки.

— Они от этой болезни мрут чуть не в сутки и притом в огромном количестве. То и дело вваливаются китайцы с чадами и домочадцами и провожатыми.

Сядет китаец, сына посадит (жена стоит, жена существо низшего сорта, ниже сына — о здоровье жены спросить китаец, значит жестоко его оскорбить). Посидит, вещи разложит, является японец-проводник, начинается лопотня рукомаха, а потом китаец забирает вещи и уходит. Оказывается не в свой класс попали — надо в третий. Этот классовый вопрос буквально через каждые пять минут. Какой-то китаец из чиновных, выходя из вагона, не закрыл за собой дверь. Один из наших субъектов, сидевший у двери, резко захлопнул ее.

Китаец обиделся, вернулся. Началась ругань. Я понял, что китаец говорит об аресте и полиции, но русский, развываясь на диванчике (территория, ведь, японская уже), бесцеремоннейшим тоном парировал его нажим: „Наша ваша не боится. Ваша дверь не закрывает. Чего ваша кричи!“ Получилось нечто в роде отыгрыша за харбинские демонстрации против Остроумова. Снова японский полицейский в сопровождении субъекта просматривает паспорта и делает отметки в книжке. Выходят. В дверях субъект оборачивается: „Которого числа вы выехали из Москвы?“ Отвечая — „Четырнадцатого“. Мистер Блинч меня упрекает — „Охота отвечать. — Вы этого не обязаны делать. Это он перед японским полицейским фасон гнет“. Охотно соглашаюсь — в следующий раз оставлю субъекта без ответа. Субъект, что ругался у двери с китаецем, уступает свое место русскому толстяку (толщиною с доброго полковника). Толстяка провожает дама. — „Кланяйтесь нашим чаньчюньцам, прощается толстяк; — привет мукденцам“, — говорит дама. Эмиграция осела, частично вымирает, частично приспособляется. Иностранцы туристы специально ездят смотреть эту вымирающую человеческую разновидность.

### Ночь.

Храпит вагон. Осматриваю его устройство. Умывалка вся никкелированная. Бак с водой; но чтоб эту воду получить, надо лезть пригоршнею куда-то под закраину таза, а большим пальцем нажимать какой-то курок сверху.

Таким способом, перепачкав руки о закраины, извлекаешь горсточку воды. С полотенцами устроено ловко: — на изогнутом металлическом пруте надета стопка полотенец с вклепанным в каждое металлическим пистоном — вытерся

и сбросил по пруту вниз. На заграничных дорогах задался вопросом, почему у нас нет в умывалках положенцев и мыла? Это вовсе не комфорт, а самая первоначальная гигиена. Неужели же и это сопрут — только положи?

Встречаю рассвет: — солнце мигает, выскакивая в прорезь горного хребта. Японец-проводник подходит со щеткой и берет пиджак Мистера Блинча, куда-то его уносит и возвращает чистым. У спутника он пиджак буквально стаскивает с плеч и делает то же самое со мной. Потом начинает выволакивать наш багаж к выходу. Я изумлен: — а вдруг пропадет? Но нет — на японских дорогах пропаж не бывает. Честность тут финляндская. Поля до горизонта аккуратно распаханы, — рубчатая земля точно сукно-диагональ под микроскопом. Деревенек желтых аккуратных, мазаных, стенами наружу, окнами и дверьми домов во внутрь во дворы — становится все больше. Куда ни глянь, около деревень в чистом поле или под деревьями — семейство земляных мурав йников. Это — могилы. С приближением к Мукдену их все больше. Мукден ими обложен, — земля ими взволновалась, как море в зыбь. Сифилитической сыпью могил испрыщен Китай, — эта страна, в которой мертвые держат живых за горло, как нигде. Если ехать от Тяньцзиня к морю, то от этих могил буквально некуда деться — и без того деревня на деревню налезает, поля крохотные, иногда чуть не сажеными их мерить — а могилы горбятся везде и их приходится обходить сохой и мотыгой. Что мертвый в Китае хватает живого в самом буквально смысле, доказательство этому хотя бы в том, что похоронная церемония зачастую не только съедает все наследство, но и вообще банкротит то семейство, в котором случилась смерть главы. К смерти здесь отношение почти приветливое, живому живется много уютнее мертвого — лучший подарок детей любимому отцу — это хороший нарядный дорогий, расписанный и позолоченный гроб, даримый при жизни и радующий старика, повидимому, не меньше, чем слочная пушка какого-нибудь нашего огольца.

Поезд пересекает дорогу длинную по самый горизонт, раскатанную, шпироченную и колесную. Эта дорога ведет к императорским могилам — если проехать дальше по ней — в поле будут стоять по краям ее громадные каменные чудища и статуи мудрецов. По колеям волны влекут китайские многопудовые арбы, с колесами, где одну главную спицу-балку пересекают две тяжких распорки. Где полуаршинный толщины обод кован в три ряда гвоздями с двухдюймовыми шляпками. Волы идут медленно и медлительные же китайские хохлы в синих долгополках фальцетом орут им китайское „цоб цобе“. Там, где древние дороги проходят по почвой, а камнем, — колени превратились в две равных

канавки, а века назад был издан в Китае закон о едином для всей страны расстоянии между колесами повозок.

Так создавались своеобразные древние рельсовые пути.

Поезд врывается в копченые корпуса, минует заводские трубы и чумазное депо и останавливается.

### Мукден.

Опять вокзал, сросшийся с „Имато-Отель“. Опять унылый субъект, следующий за нами неотступно на пятисаженной дистанции. Проходим платформы.

Грохот и звон колокола—так ночью по булыжнику грохочут пожарные. Оказывается, здесь у маневренных паровозов перед машинистовой будкой приделан колокол, в роде нашего часовенного, и бешено раскачивается паровым рычагом взад-вперед на громящей по рельсам машине. Стоят цепями на путях железные корыта огромных угольных полувагонов. Тупиковые пути—грязь, осколки, мусор. Меня поражает видеть такую грязь на японской железной дороге. На фоне мусорного ящика Мистер Блинч расстреливает нас из кодака. Субъект отодвигается в сторону, повидимому, попадать на карточку в круг его обязанностей не входит.

Ресторан. Брэкфест. Лакей подает карточку, где изображено блюд восемь, внизу надпись—полторы иены. Спутник мой осторожно берет какое-то особо вежливое блюдо. Беру и я с тяжелым сердцем, не зная, какая финансовая кара ждет меня за это. Вошедший Мистер Блинч изумлен нашей скромностью:—полторы иены за все, сколько бы в вас не влезло. Весело и дружно с большим энтузиазмом отъели мы свои полторы иены, запили съеденное кофеем и заели фруктой. Не ели только одного—перридж, поганая овсяная размазня, без которой ни один англичанин не в состоянии начать своего дня.

Японцы очень вежливы.

В парикмахерской побритый американец, держа в руках пену, требует у японца-парикмахера сдачи китайскими деньгами. Японец отвечает: йес (по английски—да) и с места не двигается, явно не понимая американца, но охотно угощая его, единственным ему знакомым английским словом—йес. Американец объясняет:

- И еду в Пекин, мне там нужны китайские деньги.
- Йес—отвечает, улыбаясь японец.
- Мне нечего делать с иенами.
- Йес.
- Так дайте же сдачи?
- Йес.
- Что же, вы не будете мне давать сдачи?

— Йес.

— Вы просто осел!

— Йес.

С помощью подошедших японцев, кое как растолковав и расплатившись, американец бросает напоследки:

— Что же я такой дурак, чтобы вести в Пекин японские иены.

— Йес,—отвечает японец, уже бреющий другого.

Оба довольны.

Нечто в роде этого постигло меня:—я попросил показать мне кассу спальных плацкарт, мне сказали „йес“ и повели; долго водили, привели в багажный пакгауз. Выбрался с трудом. Кассы не нашел—оказалось, что этого и не нужно: все билетные операции предельваются в вагоне, надо только сделать заявку на место, а затем искать по карточке на двери купе. Вот тут-то и случилось второе крещение динкурьера (октябринны), который волею японца стал Блинчем и долго упорствовал, не желая войти в купе, занимаемое человеком, со столь подозрительной и мало обещающей фамилией.

Что касается меня, то моей фамилии им даже исковеркать не удалось, так как она для них оказалась невероятна—мне просто ткнули пальцем в дверь и я очутился с Мистером Кентом.

### Крути китайская Гаврила!

Желающие ночью спать на перегоне Мукден-Пекин, должны брать место в 1-м классе, ибо 2-й класс имеет скамеечки двухместные, как в московских трамваях. Купе очень неказистое—клеенчатый диван, кресло над которым ночью повисает вторая лежанка по международному образцу; отсутствие пепельниц—обязанность их исполняет плевательница. Есть умывалка при купе, но в ней кипяток. Я одпарил руки и больше в нее не ходил. Кипяток оказался прочный и не остыл до самого Пекина.

Гуськом через наш вагон в вагон-ресторан проследовала процессия, имевшая во главе сухопутного американца, за которым следовало десять штук сухих и жирных, но одинаково на вид неприемлемых, американок с очковыми обручами над нежно малыновыми носами и скулами. Они каркали хором, а по их тазобедренным суставам щелкались с одной стороны кодаки, а с другой—бинокли. В руках были бедекеры, на головах рыжие корзинки. Туристки. Одна такая поймала меня через несколько шагов в коридоре и обкаркала всего. Я сказал, что я немец и попробовал протиснуться. Она загордела дорогу и продолжала каркать. Кое-как я понял, что ей нужна Великая Китайская Стена

(мы только что проехали несколько известко—и кирпичеожигательных печей, похожих на недостроенные вавилонские башни—повидимому, туристка забеспокоилась, не тут ли стена—вдруг же да такую достопримечательность проедешь, не заметив). Я решительно ответил: „в шесть часов“, а потом прятался от этой американки, прильнувшей к стеклу с пяти часов, ибо узнал, что стену мы проедем в 4 часа утра.

Мистер Кент увидав, что я русский—заблаговолил ко мне. Он англичанин, а поэтому я у него признан де-юре. Он шанхайский коммерсант и, видимо, находится в предвкушении кое-каких торговых сделок с Россией. Завязывается политический разговор. Макдональда он хвалит—о, это очень крепкое и постепенное правительство. Рабочих ругает—они только хотят получать деньги, но вовсе не желают работать. Он заводит опасливый разговор о СССРской экономике. Я рассказываю ему про „ножницы“: не зная слова ножницы, представляю маленькую пантомиму—в парикмахерской, действую двумя пальцами на своей безволосой голове. Кажется он понял—боюсь только не перевел ли моего пояснения словом—„бритва“ или „бритье“—это было бы крайне огорчительно и, главное, по существу неверно. Затем он твердо произносит:—Ваш хлеб—наши машины, и отправляется на Тихвин.

### Тихвин.

По-английски тиффим—завтрак за полтора доллара из десяти блюд со включением терпчайшего риса под зеленым явно экзотическим соусом, мясо, мясо и мясо, поливаемое из бутылки соев цвета танго под названием „Katsup“ (я это перевел—кошачьи щип). Я тихвиничаю без спутников—против меня пара: он—американский методистский пастор с лицом цвета хаки и носом, под которым нависли, как две перевернутые лодки, необыкновенно просторные поздри. Она—в мехах и вуали, белая русская из Тяньцзина. Говорят по французски. Разговор идет о бедных русских, живущих в Чань-чуне, офицерах меркуловцах. Оба вздыхают, оба жалеют. Потом он начинает ей показывать визы своего паспорта: все страны от Боливии до Сибири. Она заинтересовалась гербовой маркой английской визы.

Он поясняет:

— Это—Жорж Пятый.

— Ах, как похож на царя Николая!

— Ну да, они же двоюродные.

— Ах, бедный, бедный, царь Николай! (оба вздыхают).

— Мне пришлось по просьбе русских графинь и княгинь отслужить очень много месс по царю Николаю в Америке.

„Этот заработал на русской революции“,—подумалось мне. Дальше упоминался сочувственно (дамой) Распутин, а потом перешли к перечислению графинь, живущих в Америке.

Пастор оживленно:—князь такой-то спасся из России, а деньги были при нем в поясе—он смог потом бросать на чай лакеям, чуть не по сто рублей. А вы как выбрались?

— Ах, я только немного своих бижу (драгоценностей) сумела провезти.

— Как провезти?

— В кармане.

Оба опять вздыхают.

— А у меня частушки вертятся:

„Из России я бегу  
Волоку свои бижу“.

Неподалеку за столом еще одна дама, по отзывам Мистера Блинча, белогвардейка и чуть ли не шпичка. Туго приходится теперь здесь этой породе—где было уважение? Она зачиталась книгой, лакей-китаец унес у нее полудопитую чашку кофе. Она в крик: где кофе? Лакей обступил, и послушали, а потом, один из них высунул язык и стал дразнить, коверкаясь—кофе; кофе. Потом лакеи заржали, а оскорбленная дама, закрывшись корсетом и зубами вышлепела из вагона.

### Станции.

В деревнях вдоль железной дороги плетут желтые многосаженные циповки. Стоят скирды гаоляновой и пшеничной соломы. У станций стопками аршинных желтых пятков висят колосны спрессованных бобовых жмыхов (здесь бобы—это то, что у нас называется китайскими орехами). На маленьких станциях—безлюдие. Увылая пара солдат маячит. На станциях побольше—гвалт, крик, певучий, разносичий. К окнам вагонов давятся фруктовики, на коромысле несущие целых два стола, установленные побуревшими мандаринами, черными банановыми загогулинами, пресными грушами, орехами. Снуют продавцы засахаренных китайских яблок. В руке у них в роде метлы; на каждый пруттик костяшками конторских счет насажены красные и желтые, а то и белые, как в известке, яблочки, со сливу величиной.

Покупатель получает пруттик и спихивает с него яблочки по одному в рот. На поставленных на головы лотках груды уток ярко красного кумачевого цвета—их особенно готовят в перце, что дает утиной коже этот пунцовый цвет. Утки с лотков берутся в окне, осматриваются, возвращаются

обратно на лоток, или же высылают вместо себя эквивалент в виде четвертака.

С деньгами здесь совсем беда. Бумажные китайские доллары ходят только в той провинции, в которой они выпущены. Серебряный даян, с портретом жирного Юаншикая, ходит везде. Вы покупаете коробок спичек и вам дают сдачи пять двугривенных, да еще меди. Не думайте, что это от щедрости.

Мелкая монета здесь ходит дешевле, чем крупная: за даян дают 11 гривенников мелким серебром, а медных копеек (по здешнему копперы или тунзуры) на даян приходится 210. Три года назад курс тунзуров был 140, и происшедшее за последнее время резкое падение этой по существу основной валюты, на которую живет вся китайская масса, отразилось на повышении цен, которые скакнули, как водится, несоизмеримо сильнее—не в 1½, раза, а в два и три.

Утро. Мистер Кент выходит в Тяньцзинь—этом городе чопорных и чванных европейских селтльментов (колоний), названных на одну длинную улицу, как китайские яблочки на лучинку, городе—тихий асфальтов, домов, похожих на дачные, и методического уклада жизни колониальных европейцев—этих отвратительнейших из европейцев—ханж самоуверенных; жадных, спесивых и жестоких. Еще проходит три часа и уже пошли по краям полотна кумирни с красными стенами, над которыми черная зелень, никакою расческе неподдающихся, сосен. Опять могилы—но уже важные, обнесенные оградами, частью разломанными. Огороды (китайцы великолепные огородники), где каждая гряда защищена с северо-запада камышевой ширмой.

Пагода, как каменная серая елка; по концам увешанная остролепестными колокольцами. Первая пекинская стена, в квадрат охватившая город, толстая такая, что на ней разбиты сады, и шесть повозок в ряд свободно едут по ней, вся в квадратных зубцах. За ней—синяя воронка Храма Неба ткнулась своим острием в пекинское небо, синее, как одежда китайцев. За храмом—стальной переплет радио-башен. Над городом видна труба, верхние этажи громадины дома Отель де Пекин. Вторая стена с гигантскими шестиэтажными угловыми казармами и сине-золотыми многоярусными сложно-строительными надворотными башнями.

Вокзал. Пекин.

## СТРАНА РОДНАЯ

(Крыло романа)

### Артем Веселый

Ночь по деревне. Ни огонька, ни голоса. Где-где в просянках вздохнет мороз, собака брякнет. Уткнувшись носом в закорякый сугроб черной дремой дремала дремучая деревня.

В темной избе на широкой лавке сидел, одевшись и в варежках, скованный бедами, ровно собака репьями, старик Демка Кольцов. По полу были раскиданы овчины и жаркие ребятишки—ползал по ним азартный чес. Молодуха хранела свирепю и жирно. Поглядывал в обметанное ледяной корою окошко, вздыхал. Уши на малахале и те дыбом стояли—до сна ли тут?

... Хлеб

Семена

Сын Митька...

Беспокоил храп снохи. Время какое, может, по миру пустят, а она дрыхнет, корова, и горюшка мало. Пхнул кулаком под мягкое, обвислое вымя:

— Чорт неладный встань-ка.

Заворошилась:

— Батюшка?... Пресвятая мати... Ох, сон-от на меня какой...

— Замолола дура надолба. Дайка-сь ключ от чулана.

Шагая через детишек, шлепая босами, тыкалась со слепу шарилу по стенкам. Сползала с бела плеча рубаха, волосы пугали глаза:

— И куда е нечиста сила занесла...

— Одевайся живее, поедешь.

— Куда?

— На Кудыкину гору, закудыкала, чорт неладный<sup>1)</sup>—хлестнул дверью, загремел сенным болтом. В закутке с хозяином поздоровался каурый меренок.

Сноха, ровно котят, таскала из чулана пятеричные мешки. Сам укладывал их в кованный возок, застилал соломой, рассказывал куда везти:

— Мануешь Дубовый ерик и счас тебе горелый оскорь, где Савку Микитина позапрошлый год убили. Направо будет дорога и налево дорога, так ты ни по одной не езд, порови в развилку попасть, забирай огорком, огорком...

<sup>1)</sup> Не спрашивай: „Куда“—спрашивай: „Далеко-ли“.



— Сакулиной гривой, аль как?

— Во, во. Гляди в дол не спускайся—жеребенка утопишь—мятика. Гривой упорешь сотельника два, тут тебе Лебяжье, Жукова пожня, тальвик, гуга—само недоступно место. В ямину перва соломы погуще натруси, мешки ставь на попа, плотнее. Сверху снежком запуши. Пожню-то Жукова помнишь? Тут тебе львина, буерак, гуга...

— Помню, ладно.

— Место заприметь, холера. Лошадь не упусти. С богом. Вожжи-то держи, дурье гнездо.

Мерзло взвизгнули полозья, и меренок умчал молодайку с носом закутанную в тулуп.

Не раздеваясь, прилег и токо-токо забылся—в окно тихо брякнули. Вскочил. В переплете рамы болталась папаха Антона Марычева. Спросил все-таки Демка:

— Кто такой?

— Сват, выдь-ка, дело есть.

Вышел боковушкой.

— Ты, Антон?

— Я, сват.

— Ты што?

— Да ничего.

Потоптались.

— В избу айда, покурим.

— Некогда.

— Какая тебя дела крутят?

Антон крикнул:

— Мужики у Максима Пожарного собрались. Тебя зовут. Потапное собрапне, вроде...

— Меня?

— Тебя.

— Мужики?

— А ты иди, сват, иди,—засуетился Антон,—дело мирское. Крепко сердются которы, иди. Я Афанасья на час скричу...—и пропал в проулок.

Максима Пожарного изба в набой. Накурили—руки не пробьешь. На приплечке еле дышала привернутая лампа. Хозяйка зыбку качала, ребяенок, опутившись криком, затихал. Проклишше полушубки по лавкам, по полу в повалку. Поджидали кой кого. Пётра Часовня стоял на коленках и бойко разматывал языком:

— ...Два звонка. Я не будь дурень, мешок за ухо да в вагон. Нельзя—делегатский. В другую дверь—штабной. Дальше—куды прешь—вагон особого назначения. Три звонка. Вижу дело плохо. Не миновать на бухер сгнать. Ладно, думаю, смерть-смерть. На бухер верхом. Отколь не возьмись ачутка, поп меня за лапоть. Слазь. Упираюсь:

войди, товарищ, в положение, трое ден ва вокзале, обовши-вел весь, не кто-нибудь—ходок, дилигат по сельскому митарству. Четвертнюю сулил, то сё, звать ничево не хочет: слазь без литеры и вся недолга. Стащил меня, в загривок сунул. Оно не больно, а обидно. Ладно, говорю, машина твоя, земля моя. Езди и езди, а на землю не слазь—моя земля. А как слезешь тут тебе . . . . . и башку отшибу на-разо. Свиснул он, поехал. А я утерся да и пошел пешочком два ста верст. Ладно, кричу, машина твоя...

Мужики слушали молча, утопив в думу глаза—глубокне и темные, как соминные омуты. На печке баушка Анна трепала лохмотки молитв, баюкала блажного внушка, его мокрые болячки обклеивала подорожником.

— Не стони, Ванюшка, не стони... Грех, Ванюшка, грех становать... Не тешь дьявола, касатик, не стони. За мукп-мученские подарит тебе боженька ризу золотую, в пресветлый рай тебя посадит, не стони, голубь синий...

Пришли ждавные.

— Давай, начинай, вся правленья в сборе.

— Жевать тут неча.

— Верна, Кулина Пылагевна.

— Митроньку-то разбуди.

— Он хлеб-от один раз в год родится.

Демка многих мужиков впервой видел. Они оказались ходоками из волостей Старобесовской, Белоозерской, Буянской, Абдрахманской и еще откуда-то издалека. Слова укладывали скуп и бережно, одно к одному.

— Што в вашинских краях слышать?

— Одинака. Щупают почем зря.

— Дела мокрее воды.

— Под метелку?

— До зерна, скажи на милость, до зерна.

— Шутки-баламутки.

— Куда пойдешь, кому скажешь?

— Весна придет с чем взяться?

— До Левинова еще дойти... Не закон.

— Не допустют.

— Все они из одной прорвы, сукпны дети.

— Скажи на милость, семена и то...

— Надо кучей, стеной—подсказал Борис Иваныч. Проживал он в Хомутово, как голодающий. Очень мужиков жалел. Говорить при нем свои не боялись и нонче нарочно на совещанье пригласили. Одевался простецки и лицо имел городское, дряблое, как калач.

— Кучей?.. Правильно: всем плюнуть по разу—озеро будет.

1 07 06 1



- Надо подумать...
- Мма, плюнуть не счет.
- Главное—огарнизация. Выступим всем миром—нас ни одна пуля не возьмет.
- Как же?
- Поддержите што ль...
- Поддержим... Почин делать, вроде, боязно, а то подержим.
- Так и так подыхать—один конец.

Уехали делегаты под утро за-темно. И Демка Кольцов заложил каурую кобылу, ударился на хутора к хохлам Митьку разыскивать, в дезертирах кой.

Всю Сплошную и Пеструю строгали морозы. Негреющее солнышко сердито прядало ушами, снулым щенком тыкалось в творожное брюхо дней. Ночи ложились легкие и глазастые. По степным немерянным просторам курились поземки. Дороги опоясывались передувинами. Мороз обруча на избы наклочивал, сосулил усы и бороды, из глаза слезу высекал. Под скрипучими обозами дымились полозovníны.

Сломалась зима дружно.

Дынуло теплякью, дороги рассопливились, путь рывул...

Пошлыло. Закружились, загалдели шальные грачи. Занавоженные улицы умывались говорляучими льючами. Солнышко петухом на маковке дня.

Фыркая капелью ползла масляница мокроствая.

Всю неделю праздничное солнышко гудело ульем. Бурные половики дорог ухлестали разметавшуюся за речкой луговину. В степи выщелкнулись хребетки огорков. Обтаили головы старых курганов. Лед полопался на речке, берега обметало зажоринами.

Деревня варилась в самогоне. Глохтили ковшами, ведрами. В широком разгуле, как опрелые рукавицы, выворачивались нечесанные, мужичьи сердца. Спяваю плакали не в горсть, в пригоршню. Катались по нижней улице—на верхней снег уже сгорел—токо шишки выли. В обнимку по двое, по трое, кучками бродили деревней, макали бороды в окошки:

— Хозяушки дома ли?

Скрипуче, спллым надрывом, с горькими перехватами орали свои горькие мужичьи песни. Пугливую, деревенскую ночь хлестали нескладные, пьяные крики и брех глупых деревенских собак.

Подкатило прощенное воскресенье—останний денек, когда все, в ком душа жива, пьют до зеленых сопель, чтоб на на весь пост не выдохлось. Плясовым захлебом колоколили пестрые колокола, расталкивали разнаряженных кобедниш-

них баб. В выскобленных, жарко потопленных избах, за дубовыми столами целыми семьями. Бюжкие аржаные утробы мостили печевом, жаревом, распаривали чаем с топленным молоком. Старики и большаки на раскаленные печки ва полаты потужить, подремать, всхрапнуть. Молодотня—вон.

Весело на улице, гоже на праздничной.

Солнышко обвисало вихрастым подсолнечником. На пригреве, на лёклой земле собаки валялись, ровно дохлые—разморились. Куры рылись в назьме, на обталиках. Дрались петушишки—ершистые ярунки. Лобасный собаченок, пуча озорные гляделки, кубарем под гусака кривошеева: тот крылом по луже да в подворотню:

— Га га га.

Мишистые, вытертые старики выползали на необсохшие заваялки. Укутаны по-зимнему, с подогами: охают, шамкают, нахохлились, греются; дружной весне дивуются, глядят не видя, слушают не слыша. Шапки на них положи на гнезда галочьи.

Рябятишки в маслянце, как щепки в весенней реке. Руныстые, зевластые, прркопченые зимней, избяной вонью, с чумазыми изспня-землистыми рожницами они вливали в уличную суету кипящий смех, галчиный гвалдеж:

— Ребятёнки, ребятёнки, тяните голосенки, кто не дотянет, того е е е—э э э э э э э э э э...аа.

Дух занялся, глотку зальнуло. Крики:

— Есть. Есть...

На белоголового парнишку шобонястого, будго птицами расклеваннаго, набрасываются всей оравой: кусают.

Зудкие, шершавые лошаденки в погремках и праздничной наборной сбруе по улице шеметом.

— Аг га-а... Ээ.

— Качай, валяй, покачивай ка-ча-а-а-а-а!

— Наддай, Кузя.

Хлесть по Булавому:

— Ффьфьф... Тыгарга-матыгарга за задоргу ного-о-о-о-о!...

Шапку Кузька потерял, только башка треплется кудрявая, как корзинка плетеная:

— Рви вари..

— Ххах...

У прогона, через жиденькую загородку палисадинка в рыло Огурцовской избе, в окошко запрягом: ррах, зньнь.

— Го.

— По-нашему...

— В гости завернул наш Кузя.

Обедали братья Огурцовы. Побросали ложки. За ворота. Вчетвером. С полениями, с тяпкой—туча. А Кузька Замогай прямком через сугробы, через навозные кучи, под яр, за мельницу:

— Го-го-го...

Только его и видали. На кугора залпился—к полещику. Не кобыла под ним—змея. Всю зиму на хворосте постилась, а на масляну раздсбрился хозяин—каждень Буланка ишеницу хропает.

Девки, бабы, парни, мужики, ребята. Хрусткий визг. Хрип утробный. В ливне смеха гульбище.

Ор.

Буй.

Гик.

Деревня на ноготках. Кудахчут гармони.

— Молодой пока не жалей бока.

— Ха-ха.

Сыпь, сыпь чище,  
Городские нищи...

— Пррр держи.

Шапка сшиблена—трут снегу в волосы: молодого солят. Аксютка Камаганиха в шибле из розвальней через на-леску—подол на голову, сахарницей в сугроб.

— Ха-ха.

— Дрюпнулась колода.

— Жигулевский темный лес.

— Ромк Ромка.

— Е ээ.

Рванул жеребец: прррр... Улетел Ромка. За ним всем тулаем в Киватский конец ударился. Погамузнулись у церкви, да кишкой назад.

Хари, рожи, лица молодые, мордашки пылающие, нахлестанные ветром, огневые, смешливые, безшабашные, хохочущие, гульные, разливом. Залеплянные комьями навоза и снега бороды, шапки на затылках. Ветер в чупрынах.

Челеном по улице бабы платки, полушалки небесного цвету, огненны, всяки. Поддевки, полшубки, поддегайчики. Тройки, пары, запряжки, возки, розвальни. Нарядные мужики на распашку. Цветные рубашки в глазах мечутся. Напоенные до-пьяна девки раскальваются припевками. А гармонь торопливо шьет;

Ты на на, ты на на, ты на на...

За день солнышко сосульки обсосало. К вечеру захрулило. Подсохли лужи. Загубели поздраватые сугробы. По холодку от капли титьки намерзали. День уполз, волоча пылающий хвост заката. Выкатились звезды по кулаку.

И весельба уползала в избы.

В печке пожар.

От хозяйки блинный дух. Блины допекает лебедка. Рожка—солнышко красное в масло макнутое.

Угар

Чад

Треск

Шип

Стук.

В просторной чистой половине гостебнице, половодье содом, ярманка, гвалт несусветный. Под потолком в шкалике лектрический огонь.

— Пей, сватушка, пей.

— Ван Ванч...

— Ы ык... Я е...

— Опять и обмолот—зарез.

— Дарья тук квашня...

— Ы ык. То-то.

— Врут...

— Ай в них душа, а в нас ветер?

— Отрыгнется мужичий хлеб.

— Ах, куманек...—Чмок. Ван Ванч горько сморщился, махнул рукавом новой гремучей рубахи.

— С мужика дери три шкуры—обрастет.

— Аах.

— Терпежу нашего нет.

— Кишав, не корячся.

— Передохнут кой, на всех и земля не родит...

— Тятка, думать забудь...

— Зна... Хо-хо... Баяно-говорено...

— Поштенье тебе, как стоптанному лаптю.

— Догнал я фицера, да сашкой по котелку хряск...

— О, господи...

— Ешь, брюхо лопнет-рубашка останется.

— Хрисан-то те с родни?

— Как жа, родня: на одном солнышке онучки сушили.

На столе блинов копна. Щербы блюдо с лоханку. Рыбы куча— без порток не перепрыгнешь. Пирожки по лаптю.

Курники по решету. Ватрушки по колесу. Пшенички-лапшевники в масле купаются. Сметаной и медом залейся.

Пар в потолок. А самогону самые пустяки—высосали.

— Сухо...

— Не пеки мою кровь.

— Га хо хо...

— Хзяин, сухо.

— Дом у неё, как вокзал—во все стороны окошки.

— Так и так гоорю...—Петр Часовня короткими пальцами бережно разглаживает по столу бумажку, ровно

молниями, исхлыстанную чьими-то резолюциями.—Машина, грю, твоя, земля моя...

- Растуды иху, суды иху...
- Сынок, ни в жись.
- Брали мы Кеев город... Эх.
- Нуу?
- Во, бат...

Над столом рожи жующие, плюющие, распаренные, лоснящиеся, осовелые. Буркалами ворочают туда, сюда. Растрепанные, спутанные волосы, рыбы кости, соленая капуста, лапша в бородах. Разговоров на воз не покладешь, на паре не увезешь.

- Сват, кровя одне.
- На дочь зятем Топорка приму.
- В улоск ряск.
- Месь думат...
- Сроднички, ешть—пейте...
- Дай бог не грех...
- Корова?.. От печки до стеньки—три сажня.
- В захлест арканют...
- Давай менять—зверь не лошадь... Воз в раскат не пустит, ни-ни... По гребешку, как щука, промызнет.

В глотке: урк-урк-урк.

Бах-чебурах в ворота. Взорвался, посыпался собачий лай.

— Отец выдь на час, Демьян, мотри.

На дворе холодно, сине, звездно—хоть в орел играй.

Луна блин поджаристый.

- Тестюшко...
- Пррр...
- ..... мать.
- Не хочу ехать в ворота, разбирай плетень.
- Х х х х...
- В бирючьих когтях...
- Чмок, чмок, чмок.
- Брось, Леска распрягет, йда...
- Канек-от...
- Йда, чорт не нашей волости.

Кряк в два обвата:

— Маслянца што ты не семь недель...

В избе густо плещется тяжелый гам, вихрится песня.

Ээх, доля, доля моя,  
Ты водою заплыла... Ээх...

Дребезг бабьего визга кроут, нахлобучивают баса.

- А ха-ха...
- Плохо петь—песню гадить.
- Сухо.
- Чем дышим, вашу в душу мать...

— Мерси покорно.

— Раздевайсь, тестюшка.

Рукавицы на тестюшке по собаке. Шапка с челяк. Тулун из девяти овчин. Умасляная башка космата, ровно его собаки рвали. Румяный, нарядный, будто бывалопный прятник копейный. В прищуренном глазу пляшет душа пьяная, русская, мякая да масляная—хоть блин в нее макай. Довольнешенек. Дрюнулся на лавку—лавка охнула.

Разит самогонью, овчинами, духами. Поминутно хлопает дверь—приходят, уходят. Ребятишки на полатах свои, у порога чужие. Щебуются они больше всех:

Визг

Писк

Хих

Гом.

Гудят округлые, пьяные голоса. Обмяклые выкрики, приговорки, рык хохот, матерщинка—матушка, дрель пляса.

- Гуляй, Матвей, не жалей лаптей.
- Ах хм, мать пресвятая богородица.
- Нашел—молчи, потерял—молчи.
- Перетерпим, передышим.
- Ешь, блин не клин, брюха не расколлет.
- Полведерка у Митрофанихи... Сергунька, слетай.
- Все наши важитки...

Сергунька, видать, с перепоя: рожа красная, как венками нахлыстаная. Навалился грудью на стол, огурцы хряпает—за ушами пищит. Широкий парень—топором тесав. В могучую багровую шею вмок крахмальный воротничек.

В когтях рыжей лапы зажаты золотые часы—в них Сергунька кжду минуту заглядывает: который час?

- Сергунька.
- О-ок.
- Полведерка к Митрофанихе...
- Даай—от нетерпезжки сучит пальцами—Даай...
- Полведерка...

Звяк битоном, шорк в дверь, и нет Сергуньки.

— Свое-то жалко, убей няддам.

— Учут нас дураков.

Косы, космы, платки, волосники, полушалки, юбки пузырями пузырями. Рубашки вышитые, красные, сиреневые, в полоску, в искорку, с разводами. А гармонь рвет:

Ты на на, ты на на, ты на на

— Алена, аряряхни.

Алена гулящая девка. Красава. Румянец через щеку. Гладкая—не ущипнешь. Коса до пяток, густая, как лоша-

длинный хвост. Из красавиц красавица: есть на что поглядеть, есть за что и подержаться. Платьеце папшиновое оправила, рассыпала каблучки.

Ох лапти мое,  
Витые оборки,  
Хочу дома я почую,  
Хочу у Ягорки...

В пятках пружины. Всю ее сподыма бьет. Выпляс особенный. Ну: ядро, буярава.

Прошла раз и Феадуша хозяйска дочь. Рожа рябая, ровно шилом исковыряна. Рот до ушей—теленка проглотнет. Уши торчком. Спина корытом. Шея тоненька, хоть перерви. Верблюд—не девка. Прошла раз, да и отстала: куды!

В пару Алене выходит дезертир Афонька Недоенный. Форсисто одергивает допнувший по швам фрак, выменянный на картошку. Из под фрака вышитая рубашка огневой запал... Что из силы огрел себя, заржал и в пляс.

Загудула старая, раскольничья изба. Застонали матицы. Под гляди-гляди провалится. Из под лакировок дым. Мальчишки в визге.

— Гоп гоп  
— Рвай, давай

Афонька зубы лошадиные оскалил: накатило на парня: выиграла окаянна сила:

— Хы, яблочко—медовой налив...  
Глянула девка, ровно варом плеснула:  
— Не замай.

А ну ходи потолок,  
Дрыгай потолочьяя,  
Ты, Антапта, не форси,  
Пока не волочена...

— Дуй, Фонька...  
— Ух-ух...  
— Распахнись.

С улицы по окошку: диньнь.. дзеньнь.

Собаки кинулись.

— Бей. Мозжи.  
— Бабоньки...

Баба шарах  
— Девоньки...

Дзеньнь.

И еще по раме: хррр.

— Матушки...  
— За нашу добродетель.  
— Де топор...  
— Сватушка...

Дверь расхлебывили. Кому надо, вывалились в сени, на двор. Насколько похватали, чего под руку попало, и на ульцу.

На заваленок упал на колени комбедчик Танек-Пронек и неверными вихлявыми ударами крестит колом рамы.

Гундят:

— Пряники-то съела, а почевать-то не пришла... Пьяночки гуляночки—отродье ваше мать мать...

— Ах так?...

— Дно вышибу.

— Бей.

— Глуши, сватушка.

Хрясть.

Хлобысть.

Хмысть.

Буц.

Бяк.

Ччак.

Хмок.

Пинками Танька-Пронька катили от порядку до самой дороги. Улицей как нахлыстаный бежал Карпушка Хохленков и вопил:

— Гришка... Микишка... Наших бьют...

Ночь застонала набатом и волость понесла, как развожанная лошадь.

Кругом—через леса и степи—по всей хрестьянской земле мужик на дыбы взвился:

Хле е э э э э эб...

Разверстка... Терпежу нашего нет...

Кругом—через леса и степи—бурно митинговали избы и выносили приговоры:

Хлеб придержать... Разверстка неправильна.

При дер жа а а а ать...

Хороводом кружил кровавый набат.

Из села в село, от дыма к дыму скакали ходоки. Церковные площади ломались от народа. Бородатые ходоки стаскивали шапки и кланялись миру на все четыре стороны. На корню качались и трещали голоса.

В чистый понедельник Хомутово прикрыла шайка дезертиров. За матку у них ходил Митька Кольцов.

# И П Е Р И Т

(Отрывок из романа)

## В. Шкловский

Это отрывок из романа „Иперит“, который я писал со Всеволодом Ивановым.

Судя по стилю, написан отрывок мной.

Задачей романа было заполнение авантюрной схемы не условным литературным материалом, как у Джинн-Доллара (Мариэтты Шагинян), Валентина Катаева и т. д., а описаниями фактического характера.

Мне кажется, что кризис жанра может быть изжит только привлечением нового материала.

Жанр авантюрного романа сейчас берется нами, как стилизация. Происходит игра штампами и подделка перевода.

Эстетический момент вторичен и является результатом последующего осмысливания.

Романом я доволен не совсем, так как в нем много места занял пародийно иронический материал.

В дальнейших попытках я надеюсь провести линию преобладания подробностей над конструкцией гораздо резче.

## Глава, рассказывающая о негре, который не спит, перед этим даны сведения о городе, в котором будут происходить невероятные события.

Мир лишается своих достопримечательностей.

Были в Константинополе собаки.

Жили они без хозяев и ели они всякую дрянь и падаль. Каждая собачья стая имела свой район и в чужой не заходила.

Ехали путешественники в Константинополь и знали, что они там увидят бродячих собак.

Но случилась война, турки были на стороне немцев, а у немцев обычай все мыть и чистить: они мостовую в Берлине два раза в день чистят резиновыми щетками. Немцы сказали—этих собак нужно убрать.

Турки отвечали:—Эти собаки достопримечательность города и убивать их мы не позволим.

Немцы не растерялись и ответили: их убивать и не будем, а переловим и отправим на дачу.

И действительно они отправили на маленький каменный остров по середине Босфора, здесь был источник воды, но есть, конечно, было нечего.

Собаки дрались, визжали, грызлись и ели друг друга. Их становилось все меньше и меньше.

Выживали только сильные.

Говорят, что в конце концов остался один громадный могучий пес—победитель.

Он стоял на скалах и выл, выл так громко, что его слышали во всем Константинополе.

Потом пес-победитель лег и сдох.

Да послужит эта история уроком империалистам: они едят друг-друга и уничтожают друг-друга, но что будет есть победитель в разоренной Европе?

Так погибла достопримечательность Константинополя—бродячие собаки.

Лондон славится своими туманами.

Лондон стоит в полуторах часах езды от моря.

Поперек Лондона езды на автомобиле часа два. Город обрывается лачугами и начинается снова, в сущности говоря это не один город, а несколько слившихся городов.

В центре города находится его торговая часть или Сити.

Здесь не живут, а только работают: днем сюда приезжает до 1.500.000 человек, ночуют здесь только 17.000.

Но зато здесь все банки и конторы, здесь сосредоточена вся венозная кровь мира.

Это тот же московский Кремль, только наоборот: в Кремле источник алой артериальной крови, обновляющей землю.

Но и за Сити и далее город продолжается.

Всего в Лондоне свыше миллиона домов и 7 с  $\frac{1}{2}$  миллионов людей. Это цифра 1923 года.

Население пригородов каждые 20 лет удваивается.

Дома в Лондоне не такие как в остальных городах, а маленькие на одну семью, в два, три и четыре этажа. Внизу кухня и гостиная, наверху спальни. В каждой комнате камин, у каждого каминная труба и из каждой трубы, конечно, идет дым. . . . . иначе для чего бы ее ставить.

Вы меня еще спросите, а фабрики ведь тоже с трубами, Фабрик, читатель, в Лондоне очень мало, это не фабричный, а конторский город.

Лондон посылает ежегодно во все концы мира миллиард писем и 26 миллионов телеграмм. В Лондон приходит 9000 поездов в день.

Лондон может съесть все русские яйца и, намазав на хлеб, проглотить все сибирское масло.

Пусть кушает пока на здоровье.

Но Лондон—не фабричный город.

Только рабочие доков—докеры, разгружающие пароходы, и рабочие городских предприятий составляют в Лондоне большие группы—рабочего населения. Таким образом дым над Лондоном, главным образом,—дым каминов.

Этот дым выносит в воздух мельчайшие частицы угля. Лондон город богачей и конторщиков, а конторщики любят считать, так вот они сосчитали, что в неделю на каждую квадратную милю в Лондоне оседает 1600 пуд. твердых веществ. Прежде, чем осесть, они долго еще летают в воздухе, сгущая туман.

Самый обычный туман в Лондоне, поэтому был желтого цвета, даже немножко с зеленым оттенком. Он наполняет улицы, забивает как ватой, все промежутки между домами, людьми, автомобилями, лезет в комнаты.

Есть и другие туманы—например черный, который приходит редко и закрывает город как крышкой. Но вниз он не спускается. Когда в Лондоне приходит черный туман, то в двенадцать часов зажигают огни на улицах. Город весь покрыт черной рояльной крышкой, только не полированной.

Лондонцы находят, что так даже уютнее.

Есть еще белый туман, очень плотный и густой, но чистый. Вероятно он приходит с моря.

Так было в 1924 году.

Но дело в том, что наш роман происходит не сейчас, а в будущем.

Я собираюсь даже поместить в него своего еще только рожденного сына.

Я заинтересован, поэтому, в будущем и желаю, чтобы там было хорошо.

В будущем Лондоне тумана не было.

Лондон устроил то, что должен был устроить давно: дымовую канализацию.

Было время (для них мест оно настоящее) когда каждый высыпал мусор и выливал нечистоты перед своим домом.

В роскошном дворце французского короля Людовика XIV,—коридоры были каменные, а у дверей комнат стояли параша.

Ночью они выливались прямо на пол, который специально для этого делали покатым.

Сейчас это кажется грязным свинством, а тогда даже восхищались, как удобно устроились.

Такое же свинство коптит небо дымом. Кроме того это невыгодно, в дыму выпускаются в небо очень ценные вещи.

А об старом времени не жалейте—оно было вонючее, и с париков спутников Великого Петра сыпались вши, это записали тогда в Лондоне англичане.

Англичане, как видите, очень злопамятны. Кроме того они консервативны: у них и сейчас в судах судьи ходят в париках, вероятно, чистых.

Лучше было бы устроить в Лондоне вместо каминов хорошее паровое отопление, но англичане даже короля сами рассчитать не умеют, так что мы послали к ним Словохотова, где уж тут отказаться от каминов.

И сидит себе англичанин в будущем Лондоне перед камином, тыкает в огонь прямой медной кочергой и греет ноги.

Все, как прежде.

Но не дымит труба над его коттеджем (так зовут в Англии домики для одной семьи) дым идет по трубам далеко за город на специальную станцию. Сосет станция со всего города дым, и нет над Лондоном ни желтого ни черного тумана. А из дыма получается сернистый ангидрид и каменноугольный деготь, из которого делают краски и фенацетин и аспирин и. . . ядовитые газы для войны, чтобы еще больше разбогател Сити, и чтобы все конторщики записали в книги еще большие цифры.

А самим конторщикам от этого ничего не прибавится, даже усики не отрастут от войны, а туда же лезут воют. Работает дымогарная станция в будущем Лондоне на тепло, которое приносит ей дым по трубам.

Так вот каким способом лишился Лондон одной из своих достопримечательностей—туманов.

Когда-нибудь мир освободится и от другой достопримечательности—войны.

07 073

Не будут воевать рабочие с рабочими, крестьяне будут мирно пахать свою землю, ядовитые газы будут отравлять только сусликов и саранчу, а двери на арсеналах мы заколотим крест накрест — серпом и молотом.

Но идем дальше; нас ждет негр. Правда, у него много времени, потому что он не спит.

Впрочем, кажется это не тот: это самый обыкновенный негр. Он уже не молод ему лет 60. Курчавые волосы его седы, но держится он прямо и сложен все еще хорошо — как негр: негры хорошо сложены, особенно кафры.

Нашего негра зовут Джемс Холтен, хорошая фамилия, негры любят выбирать для себя такие. Он служит в очень хорошем квартале Лондона: недалеко от Гайд-Парка в Манфере.

Здесь этот обыкновенный пожилой негр служит в очень обыкновенной должности дворецкого, в доме, который когда то принадлежал графу, а сейчас перекуплен коммерсантом — разбогатевшим на спекуляции искусственной нефтью.

Должность негра обыкновенная, но почетная: он обучает коммерсанта аристократизму.

Он следит за тем, чтобы все было как в лучших домах: Первоначально коммерсант хотел пригласить на эту должность одного бывшего украинского посланника, но у того оказалась странная привычка оббивать сургуч с бутылки об стенку.

Тогда один знаменитый профессор, научный консультант фирмы, рекомендовал на эту должность негра.

И негр пришелся ко двору. Синие, проданные вместе с домом, дивреи были ему к лицу.

Он выглядел поглощенным какой-то другой мыслью. Часто другие слуги видели его рассматривающим чей то портрет, в медальоне на браслете.

В шесть часов вечера негр переодевался и уходил. Если бы кто стал следить за его фигурой в светло-песочном пальто и ботинках, то увидел бы, что Хольтен не спеша проходит через широкие лужайки Гайд-Парка и, не опускаясь в туб, идет походкой человека, которому некуда спешить, через уже опустевшее Сити, мимо башен Тауэр в Уатчепель — квартал бедняков.

Здесь улицы становятся грязней, худые женщины с озабоченными лицами разговаривают друг с другом на углах около ларьков, торгующих баранками, сельдями и солеными огурцами, странно выглядящими в Лондоне.

Беднота живет здесь густо у самых ворот города богачей.

Негр не спеша и не смотря по сторонам, идет все дальше, пешком, очевидно ему некуда торопиться.

Наконец, он останавливается перед дверью с матовыми стеклами одного из кабаков, привычно входит, раздевается,

не смотря на крючок, вешает на него свое пальто, одевает передник и становится за стойку.

С шести до двенадцати Хольтен наливает виски и пиво быстро говорящим и мало пьющим евреям, молчаливо пьющим белокурый рабочий и много говорящим и пьющим больше всех — женам рабочих. Все пьют, стоя не задерживаясь.

Но вот наступает 12 часов. Лондон засыпает.

Неизменившейся походкой выходит негр из кабака.

Улицы пусты, одни безработные тяжелой походкой полуспя идут без ночлега.

Спать им нельзя, им нужно идти.

Бездомный рабочий, идущий без цели по улице, в Лондоне называется „носильщиком знамени“.

Тяжелой походкой несут они невидимое черное знамя нищеты.

Полицейский стоит и смотрит. Он не хочет зла этим людям, он хочет только, чтобы они шли, на улице спать нельзя.

И среди этих людей, которые должны притворяться, что у них есть дом, идет Хольтен.

В темных и узких переулках шепчутся пары, шепчутся, жмутся и тянутся друг к другу.

Полицейский смотрит. Он знает, у этих тоже нет дома. Но все равно, пускай они ведут себя прилично.

Негр идет мимо. Ночное небо так черно, как его кожа. Как его отчаяние.

Он идет к докам, как будто преследуя в затихающем городе последние отблески дневного шума.

Здесь есть таверны, где пьют и пляшут всю ночь, где всю ночь взвизгивает музыка.

В одну из них заходит негр

Опять он снова снимает пальто и через четверть часа в черном парике и клетчатом костюме, всю ночь на столе бьет чечетку ногами, уже 16 часов идущими по асфальтам Лондона.

В 6 часов открываются ворота парков.

„Носильщики знамени“ тянутся к ним, ложатся на траву, усталость мешает им спать.

И тоже бессонный, но как-будто совсем не усталый, идет мимо них Хольтен, по росистой траве, он идет на свою дневную службу, является первым. Он аккуратен.

Что за странная тайна у этого человека?

Что заставляет его вести три бессонных жизни?

Не знаем.

Может-быть, знает тот, кто часто звонит по телефону на одну из служб Хольтена и, вызвав его говорит всегда одно и то же: „Явись немедленно“.

Тогда негр сереет, как-то худеет сразу и, какое дело ни было бы у него сейчас на руках, уходит немедленно в большой город, где 7 с 1/2 миллионов людей, где нет больше туманов, но так много тайн и невидимых черных знамен, над согнутыми плечами невольных знаменосцев.

А мы пока знаем одно: каждый месяц в Йоганнесбурге Коммунистическая Негритянская Фракция получает ежемесячный взнос.

Величина этого взноса колеблется, но она всегда равна сумме трех жалований бессонного негра.

И каждый раз на сопроводительном бланке, одном из миллиардов бланков выходящих из Лондона, написано одно и то же:

— „От человека, который очень виноват и очень несчастен“.—

Нет, еще не все туманы рассеялись над Лондоном.

## ПРОЗ-РАБОТЫ А. ЛАВИНСКОГО

Помещаемые нами снимки проз-работ А. Лавинского обнимают два наиболее распространенных и возможных сейчас вида деятельности конструктивиста: реклам-плакаты—и модели вещей. Реклам-плакаты—в большей части, модели—в меньшей. Почему не наоборот—зависит от состояния нашей промышленности, которая еще оправляется от военных потрясений.

Теперь о реклам-плакатах. Видели ли вы, среди замечательных подчас произведений сегодняшнего афишного искусства, применяющего четкие, броские, производственно-оправданные штифта, — витиеватый, сюсюкающий театральный плакат Б. Кустодиева о спектакле МХАТ „Блоха“? И в нем—буквочки с хвостиками, выглядывающие из бумаги, как изюминки из ситного, славянские закорючки, мазочки и пятнышки? И в нем—все, чем только грешит ставковизм... Словом—все, что только может рассосредоточить внимание.

И сравните с таким плакатом реклам-плакаты А. Лавинского, где—никаких цветочков и хвостиков, где, наоборот, почти ничего не подрисовано, а между тем, все—четко и броско.

Четко и броско только потому, что правильно понята функция плаката и каждый плакат не рассосредоточивает, а собирает внимание остроумной комбинацией прочномонтированных снимков рекламируемых вещей.

Поэтому плакат Лавинского актуален и запомнится, плакат Кустодиева—напыщен и бьет мимо цели, это плакат—от слова плакать.



Плакат.



Проз

работы.

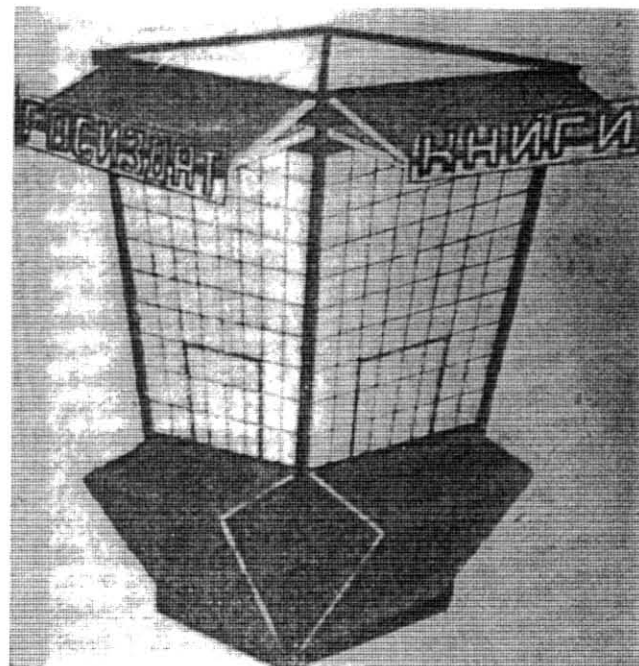


Плакат.



Плакат.

А П А Д М



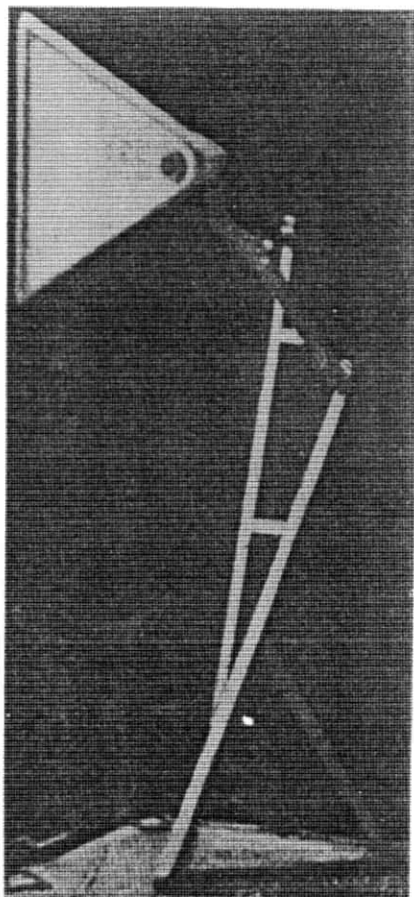
Проект киоска.



Плакат.

Ц О И И Й

07 076



Установка для лампочки  
(модель).

Лавинский — большой выдумщик, и его плакаты, помимо того, что наглядны, также и нарядны. Не витиевато-нарядны, как наряден какой-нибудь Чехонин, а целесообразно нарядны, нарядны богатством взятого материала и прекрасным его размещением.

Из моделей вещей А. Лавинского нами помещается модель книжного киоска Госиздата (по его же — Лавинского — модели-близнецу выстроен на Площади Революции книжный киоск, мимо которого не пройдешь) и модель установки для электролампочки.

Вещи Лавинского легки и экономны (принцип аэроплана) и находчиво используют взятый материал) например, стекло в проекте книжного киоска.

Чем скорей пойдет у нас развитие промышленности, тем больше будет этих вещей. Ибо за конструктивистами в нужный момент остановки не будет.

П. Незнамов.

# ТЕОРИЯ

## ИДЕОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

К. Зелинский

I.

### Архитектура в чистилище.

Архитектура вышла из войны обновленной. Наступают скоро времена, когда мы начнем строить. Вопросы идеологии архитектуры в ближайшем должны продвинуться в центр общественного внимания.

Наконец, наступило так же время, когда развитие архитектуры не может быть далее предоставлено самому себе, т.-е. произволу рынка. Не говоря уже о Советской России, но даже на капиталистическом Западе государство не может пренебрегать дальше технической отсталостью и малокровием современной архитектуры. Подобно тому, как на определенной степени своего производственно-экономического развития государство национализировало железные дороги и важнейшие пути сообщения, так, и несслыханное перенаселение таких городов, как Лондон и Нью-Йорк (100000 чел. на 1 кв. милю), заставляет государство взяться за технику многомиллионного жилья. Крупнейшие банки и капиталистические предприятия (как, наприм. Лусер и Боневей во Франции <sup>1)</sup>) предлагают своим правительствам выполнение громадных архитектурных проектов. Идет теоретизирование.

<sup>1)</sup> Лусер предложил выстроить 500,000 домов стандартного типа, ценою в 15,000 франков дом (вместо прежней цены в 20—30 тысяч франков). Прогрессивные возмущили недвижимую после войны сидоамскую кузель архитектуры. Посыпались проекты: городов—садов—проект Томи Гарнье; городов—башен—Августа Перре известного архитектора—дома по 60 этажей. Дома далеко отстоят друг от друга; городов, где все дома на 20 метров приподняты на бетонных сваях—проект Корбюзье—Сонгье и т. д. Архитектура ищет всевозможных путей, раздираемая внутренне рыночными противоречиями. Нет единства. Нет идеологии. Та же картина в Германии. Вот, наприм. Нейдек

„Но люди, пишет Корбюзье-Сонье,<sup>1)</sup> живут в старых домах, и они еще не подумали построить себе дома. Жилище им слишком близко к сердцу, во все время. До такой степени и так сильно, что они учредили священный культ дома. Кров. Это тоже домашнее божество. Религия покоится на догматах, религии не меняются, цивилизации меняются; религии испровергаются, будучи подточены гнилью. Дома не изменились. Религия домов остается тождественной в течение веков. Дом испровергается“.

Чистая инженерия, строительное искусство, в собственном смысле слова, повсюду вступает в конфликт с архитектурой, с этим самым отсталым, самым косным из искусств (употребляя условно это наименование).

„В то время, как история архитектуры медленно эволюционирует на протяжении веков в отношении изменений структуры и украшений—50 лет железа и цемента принесли приобретения, которые служат показателем великого могущества конструкции и показателем переворота кодекса архитектуры.“

(„Geschichte der Technik“ Stuttgart, 1923) объясняет даже появление „заката Европы“ О. Шпенгера... прекращением строительства и упадком архитектуры. Европа не знает, что строить. Архитектура в Германии на распутье. „Многоразличные потребности“, пишет Нейдек, должно раздробить архитектуру на тысячи русл и стилей“. Такова судьба капитализма.

В Америке наряду с новыми „чудесами“ техники элеваторов и холодильников Чахаго, возрождение... готики. Первую премию на недавнем конкурсе на постройку небоскребов для одного крупного банка получила „стильный“ проект (см. „The American of City“).

<sup>1)</sup> Le Corbusier—Sognier, Vers une architecture, Paris 1924. Эта книжка по новейшей архитектуре выдержала во Франции в короткое время шесть изданий. Она является характернейшим примером того неопределенно приподнятого возбуждения, которое охватило умы архитекторов перед лицом современного блестящего триумфа техники и инженерного строительства, но полоничатость и крепко сидящий социальный консерватизм мелкого буржуа не позволяют Корбюзье поставить проблемы архитектуры во всю глубину и связать их с разрешением проблем социальных. Корбюзье необычайно остро чувствует всю гниль и безвкусию буржуазной архитектуры. Этой архитектуре антигигиеничной, неудобной для жилья, он противопоставляет свежесть, ясность и целесообразность инженерных сооружений, больших пароходов, самолетов, автомобилей и т. д. В стиле нашего Эренбурга, (А встает она вертится) Корбюзье пишет „Инженеры здоровы, сильны, деятельны, полезны, нравственны и веселы. Архитекторы—разочарованы, бездельники, кластун и мрачные“. Обращаясь к банкирам и фабрикантам, Корбюзье говорит, что они живут только на фабриках, там они сильны, энергичны и веселы. Дома в своих „гайках будорах“—они вялы и подавлены. Бойтесь своих домов, пугает Корбюзье французского мещанина, они ведь аморальны в своих неудобствах. Постройте новые дома „машин для жилья“, иначе будет плохо. „Архитектура или революция“ так даже озаглавил Корбюзье последнюю главу своей книги. И Корбюзье заканчивает повествование классическим предостережением французскому капиталу: или—архитектура или революция—революция оказывается можно избежать, если построить новые дома, которые не будут так подавлять нашу психику своими неудобствами—отращать людей от дома и разрушать, таким образом, мораль и семью.

Если это поставить с прошлым, то устанавливается, что стиль не существует больше для нас; произошла революция“<sup>1)</sup>.

Архитектура чувствует себя накануне новой эры. Как в капле воды в ней отражаются бродильные силы надвигающейся социальной революции. Религия церкви, политики, домашнего уюта, старого „интимного“ искусства—сами себе кажутся смешными, жалкими и даже (о, ужас, для мелко-буржуазного мещанина) безнравственными.

Капиталистический Запад чувствует себя дряхлеющим и изжитым сверху и снизу. Окопы войны легли поперек буржуазных квартирок. Обнажились грязные шелковые диваны, пуфы, ковры, мизерные масляные картины и литографии. Архитектура вдруг почувствовала свой дурной запах.

За время войны потухли домашние очаги, и теперь капитализм обнаружил их гниение.

Старая, полная великолепных традиций, Европа готова броситься на меч голой техники. Революция в архитектуре становится бессильной отдушиной расpiraющих связу гораздо более глубоких социальных сил.

Архитектура—великий консерватор—проводит в мелкобуржуазных умах бескровный, но эффектный „путч“ возмания техники на архитектуру.

По одну сторону „художественная“ архитектура, дремлющая в полудзабытых видениях тысячелетних стилей, гигантских ассирийских дворцов, колоннады Луврских храмов, тянувшихся на целые версты, архитектура полная величия готики, буйства возрождения, пышного золота Людовиков—с другой стороны инженерия—полные невероятной силы машины, элегантные мосты, океанские пароходы, подъемные краны, элеваторы, стальные конструкции и перекрытия и весь этот мир гибкого и могучего металла.

Таковы эти два мира. Лучшие и искреннейшие архитекторы и инженеры Запада переживают это противоречие, как противоречие социального порядка. Смутные очертания фронта получают внутренне тревожный и обещающий характер. Архитектурный Запад на распутье перед проблемами, решать которые призваны не архитекторы, а классы. Техническая борьба тайно хочет зазвучать, как пафос борьбы социальной и политической.

<sup>1)</sup> Выход для архитектурной эстетики Корбюзье видит в возврате последней к первичным конструктивным геометрическим формам: шару, кубу, цилиндру, конусу и т. д. Ибо так строятся элеваторы и так строился Парфенон. Геометрирование архитектуры позволяет ей слиться с техникой.

Очищая книгу Корбюзье—Сонье от всего ее мещанского и метафизического ила, мы найдем в ней массу ценного материала о современной архитектуре, а, главное, она прекрасно рисует обстановку, в которой находится послесоциальная архитектура на Западе, и вскрывает идеологию, ее питающую.

### Задачи статьи.

В чем дело? Острейшие проблемы, которые встали перед современной архитектурой не случайны. Они одинаково подготовлены, как развалом экономического режима капитализма, так и, в особенности, быстрым техническим прогрессом последних десятилетий. У нас в Советской России вопросы архитектуры также приобретают первостепенное значение. Правда, практическое строительство еще будет медленно развиваться в первые годы нашей хозяйственной разрухи, но предварительная подготовка и овладение идеологическими позициями новой архитектуры войдет в общее культурничество нашей эпохи.

Пролетариат победил, он будет строить и он сам должен быть идеологически кормчим своей архитектуры.

В этой статье я хочу произвести попытку предварительной расчистки идеологических позиций в архитектуре. Под идеологией архитектуры я понимаю здесь совокупность самых общих технико-производственных, общественно-экономических и эстетических посылок, предваряющих и определяющих конкретное осуществление архитектурных идей и проектов.

Чисто инженерные, конструктивные технико-производственные требования, предъявляемые к архитектуре, не одинаковы у нас и в капиталистических странах. Эти конструктивные производственные требования определяются целами (назначением) строительства. Цели у нас не совпадают.

Однако, в этом натиске конструктивизма на архитектуру есть известная доля объективированной логики обще-технического прогресса.

Эту техническую логику, так необходимую нам в нашей крестьянской „стихийной“ стране, во всех областях культуры,—я буду защищать в этой статье.

И по этой же линии время открывает архитектурный фронт.

### История вскрывает архитектуру изнутри.

Не случайно, что „художество“, самодовлеющее искусство и инженерия—самодовлеющий конструктивизм приходят теперь в столкновение. И это не только в архитектуре.

Антагонизм этот имеет две причины: историческую и принципиальную.

Историческая—развитие производительных сил перерастает архитектурные „надстройки“ и через свои щупальцы—технику—хватает архитектуру. „Художества“ чистой архитектуры начинают мешать ее дальнейшему жизненному развитию. Такова диалектика. Архитектура очищается и динамизируется снизу растущими потребностями.

Но косное, архи-косное в своих традициях зодчество оказывает этому сопротивление. Оно старается навязать реальной жизни свои застывшие формы и стили.

Классическим примером такого архитектурного насилия является достраиваемый в Москве Казанский вокзал—форменное архитектурное издевательство над железной дорогой<sup>1)</sup>.

Принципиальное противоречие заключается в различии функций: художественной и чисто строительной. Это тоже разделение, которое существует между прозой и поэзией, между вообще искусством и целевыми требованиями всякой организационной деятельности.

Инженерия имеет одну установку, только конструктивную, архитектура—две: конструктивную и эстетическую.

Во второй своей части архитектура призвана воздействовать своими формами на нашу эмоциональную природу, должна усиливать чувственную весомость построенного, самоутверждать его.

В сущности вся история архитектуры была борьбой орнамента и конструкции<sup>2)</sup> („стилей украшательских и тектонических“—Кон-Винер).

Мир, которого нужда войн сделала утилитарным и конструктивистским, внес разлад своей капиталистической анархией во внутреннее формальное единство архитектуры. Архитектура—двупола. Она слишком художественно-женственна. Наше время же непомерно усилило ее мужское начало—емкость, легкость, подвижность, сопоставляемость, технику. Экономичность хочет одеть архитектуру в простой стандартный костюм, хочет придать ее чертам мужественность и силу<sup>3)</sup>.

Глухие буржуазные эпохи, времена внешнего мира и „благоволения на небесах“ в архитектуре побеждала непринужденная

1) Эти неудобные крошечные окошки, которые не пропускают света, каменные жабо, своды монастырской трапезной, вся эта надуманная помесь азиатчины, Суваровой башни и пресловутого стиля „русс“. Грустное зрелище, как старухку XV-го века заставляли обслуживать узел жел. дороги—живую артерию растущей промышленности страны. Эти астрономические насекомые, раки и козерогги на вокзальных часах. Разве эти часы для площади, для рыцарского мужика, приезжающего в Москву? Разве это целесообразное здание для сложных нужд жел. дороги?

2) Период господства монументальной конструкции и орнамента. В. Гаузенштейн („Искусство и общество“ пер. с нем. „Новая Москва“ 1923 г.). Гаузенштейн относит к схеме диалектического чередования социетарных и индивидуалистических эпох. „Школа Сен-Симона создала для обозначения этой исторической диалектики два искусственных выражения: период общественной замкнутой цельности она назвала „органической“ эпохой, период индивидуализма и разложения каких бы то ни было коллективов—„критической“. См. также „формалиста“ Кон-Винера—„История стилей изящных искусств“.

3) Любопытно, что эти две тенденции в архитектуре в старое время (см. Брокгауз и Ефрон, том 3, стр. 272) послужили тлужбой академических учебных программ Академии художеств, и напр. Института гражданских инженеров. Этот академический спор снова возобновляет Я. Тугендхольд (см. „Известия“ от 20—VIII—27 г.).

игра, „художественность“ высокомерной эстетики. Эпоха войн—эпоха мужчин. Женщины остаются дома, Эстетическое в архитектуре подавляется жестокими требованиями суровой жизни.

Уравновесить обе функции—эстетическую и конструктивную может только социализм. Теперь же, в переходную эпоху революции и войн, событий, неизмеримых по своему реальному, жизненному значению—художественное оттесняется назад. Я не знаю, на какое место? Я знаю только, что бывают такие моменты, когда целые классы людей, почти все общество, подходит к такому порогу, где эстетический посредник оказывается лишним совершенно. Не то у нас на уме теперь.

### День, когда искусство было нам чужим.

Вспомним дни за смертью Ленина.

Не только театр оказался лишним, когда открылась могила Ленина. Лишней и беспомощной оказалась и поэзия (литературная газета „Ленин“), фальшивой казалась нам и скульптура и живопись, изображавшая Ленина.

У могилы Ленина оказалось скопированным все искусство. Вся сумма художественных усилий людей, старавшихся дать Ленина через искусство—показалась нам просто не нужной или даже неуместной.

В чем же дело? Почему искусство на дороге, которая может оборвать его путь?

Причины лежат не только в исторической непригодности ресурсов современного искусства, которым нечего было предъявить в эти дни, а причина лежала, как я говорю, глубже—в ненужности художественного обогащения сознания факта. В ненужности эстетического усилителя.

Катодные лампы нужны там, где „не существующие“, не осязаемые радио-волны необходимо заставить звучать, сделать их весовыми для уха. Но роль ненужного усилителя играет эстетический элемент во всем, что касается Ленина. Ленин слишком ярко жив, материально жив.

Вот почему все эстетическое вокруг Ленина звучит еще фальшиво. Самые простые подозреваются в искажениях. Вот почему мы равнодушно проходим и мимо всякой так-называемой литературы о Ленине, и так жадно искали каждый новый живой факт, просто новую информацию о Ленине, которую не сможет заменить нам никакое стихотворение о нем.

Реальные живые интересы в этом случае отвлекли соки и обескровили для нас, полных горя,—искусство. Это случилось тем легче, что современное искусство, за малой своей частью, оказалось внутренне чуждым и до конца не почувствовавшим событий.

### Время—стиль—жанр.

Или, следуя В. Гаузенштейну можно сказать, что в органические эпохи искусство перестает собирать целиком „освобождающиеся энергии класса“. Оно теряет свой самодовлеющий характер (искусство для искусства).

В такое время искусство ищет широких плановых, конструктивно-монументальных очертаний, отражающих общинный, коллективистический масштаб жизни.

В эпохи переходные—жизнь еще более отвлекается от интересов искусства. Последнее приобретает подчеркнуто-сюжетный, жанрово-конструктивный характер, делается организационным и экономным.

Стиль нашей эпохи колеблется между жанровым конструктивизмом и монументальным конструктивистским реализмом, перевешиваясь то в одну, то в другую сторону. Это дробный язык войны и это голос мира. Искусство, играющее на случаях, использующее газетные отрывки, мимолетные записи похода целой эпохи—и искусство, которое хочет чертить своды, охватывающие весь мир. Это сегодня и завтра. Это острый глаз бивуаков, жадный, схватывающий крепко и быстро, а, главное, экономно, и это также глаз, ищущий твердеющих горизонтов.

В Советской России жизнь в целом, отвлекая соки от старого искусства и питая новое, выравнивает последнее в духе своего организационного напряжения. Конструктивизм делается жанром<sup>1)</sup>. И, наконец, бывают дни, когда люди совсем отворачиваются от искусства. Это дни календаря нашей эпохи.

И с тем большей легкостью возникает эта, идущая от жизненных потребностей, оппозиция против эстетических форм в тех искусствах, где эти формы особенно обветшали и стали тесны (и художественно, и конструктивно-динамически).

Таким искусством, вызывающим сильнейшую оппозицию всего духа нашего времени является архитектура. На фоне конструктивистского натиска Советской России, натиска распространяющегося по всем диагоналям культур—старая архитектура с ее чужими нам, как остановившиеся часы, чертами вызывает враждебное чувство.

## II.

### Архитектура и советская общественность.

Архитектурное строительство в России пойдет по двум путям: мы будем ремонтировать, переделывать и приспособлять старые здания для текущих потребностей, но понемногу, и чем дальше,

<sup>1)</sup> Под конструктивистским жанром я понимаю подчернутое обособление организационных моментов в обработке фактуры, вводимое в искусство, как прием. Напр. геометрический живописный стиль некоторых живописцев „производственников“. Монументальный конструктивизм свой организационный пафос прячет глубоко, технически не выходя его.



тем скорее, будет развиваться новое социалистическое строительство, которое принесет свои новые законы, свою новую идеологию. Какая это будет идеология?

Это новое строительство будет строительством Дворцов Труда, новых вокзалов, домов-коммун, фабрик, рабочих поселков, новых городов и новых деревень. Сюда войдет слитной струей архитектурное увековечение памяти вождей, памятники скульптуры и монументальная пропаганда.

Замыслы, дерзость, великие планы грядущих десятилетий! Когда начнут они осуществляться? Это зависит от многих причин, но, в первую голову, от электрификации России и общего хозяйственно-индустриального роста советской страны.

Но рассуждения об архитектурной идеологии будущего строительства вовсе не имеют сейчас платонического характера. В высших научно-художественных центрах идет подготовка. Разрабатываются проекты. Устраиваются архитектурные конкурсы. Закладываются первые постройки и памятники. Частично осуществляется будущая перепланировка Москвы.

Установлены ли какие-либо общие принципы и положения нового советского строительства? Привлечено ли общественное мнение к новому строительству? Что сделано в деле привлечения самих рабочих к дискуссиям о новом строительстве? Разве у нас не разрабатываются проекты новой Москвы? Разве не идет подготовительная работа по разработке типов будущих жилищ для рабочих?

И если мы стараемся привлечь рабочее общественное мнение к театру, живописи, литературе, то в этом больше всех нуждается именно архитектура—самое неблагоприятное из искусств.

Если мы непосредственно заинтересованы в том, какие архитектурные идеи восторгаются у нас в жилищном строительстве, то разве проекты перепланировки Москвы, проекты Дворца Труда, мавзолея Ленина дальше отстоят от нашего внимания?

Напротив, совсем напротив. Все это очень важно, ибо надо ли повторять, что архитектура вместе с тем искусство самое доступное для масс, а стало-быть, и наиболее выразительное и наиболее действительное.

Надо сказать, что у нас очень мало делается и делается до сих пор, чтобы использовать именно это преимущество архитектуры.

У нас есть в Москве сотни называемых литературных кружков и есть кружки рабочих, где обсуждаются иногда сложные постановки Мейерхольда и т. д., но я не знаю ни одного рабочего кружка, клуба, собрания (кроме специальных учреждений), где бы широко ставились архитектурные проблемы в марксистском освещении, в сопоставлении с теми задачами, которые поставит архитектуре коммунистическая организация общества и новый, производственно-трудоустройственный режим.

Пора, давно пора сделать вопросы архитектуры широким общественным достоянием. И это сделать, я повторяю, тем легче, что вся система старого капиталистического строительства, в сопоставлении с здоровыми идеями и примерами коммунистического строительства, есть нагляднейшее средство к разъяснению сущности и полноты экономического режима.

Какие принципы должны определять идеологию нашей архитектуры, я попытаюсь обосновать ниже. Теперь же, хотя бы вкратце, посмотрим, какая идеологическая подготовка идет в наших „специальных“ институтах.

### Там, куда еще не ступала коммунистическая нога.

Это же „теоретизирование“, которое, как я сказал, идет сейчас на Западе, идет и у нас. Возобновляются после пережитых бурь архитектурные общества. Оглядываются. Занимают старые места и начинают издавать журналы („Зодчество“ в Ленинграде, „Архитектура“ в Москве).

Посмотрим, как же оценивают специалисты-архитекторы советскую архитектурную обстановку?

Перспективы необозримы. „Предстоит не только поставить заплаты на старом,—говорит декларативная статья первого номера Ленинградского журнала „Зодчий“—1924 г., но создать новые типы не только жилищ, но целых новых населенных мест“.

Что же должен делать „Зодчий“?

„Зодчий“ должен быть кормчим, какам он был в старое время, и направляющим утлую ладью(?) нашего русского строителя по новому пути<sup>1)</sup>.

Что же будет направлять „утлую ладью“? Какая идеология будет „кормчим“? Как же разобраться во всей сложности задач? На это отвечает профессор Г. Космачевский<sup>2)</sup>.

„Трудно бывает разобраться“,—говорит с трогательной откровенностью Космачевский,—в массе жизненных факторов, в хаосе, сутолоке; трудно, почти невозможно(?) бывает предвидеть даже ближайшие результаты взаимодействия этих факторов.

Но тут-то и приходит на помощь интуиция; она как бы прозирает будущее и пророчески нам (курсив автора)“.

С такими „утлыми“ средствами, как интуитивное „прозравание будущего“, старая архитектурная „ладья“, однако, смело собирается в далекое плавание. Больше того,—„Зодчий“ собирается вести за собой все Общество, быть спасительным ковчегом архитектуры. Понятно, что для этого нужно иметь руль?

1) „Зодчий“—орган Ленинградского О-ва Архитекторов. № 1, 1924 г.

2) Там же. Речь проф. Космачевского, произнесенная при открытии влож О-ва Архитекторов: „Идеология зодчества“.

„Зодчество“ должно как-то освещать путь своего движения вперед, как то влиять на общество с целью повышения его среднего вкуса и потребностей. Для этого зодчество должно иметь свою оформленную идеологию“<sup>1)</sup>

Кто же будет держать руль идеологии? Кто будет властно влиять на общество? Кто будет кормчим и архитектурным учителем жизни? Может ли участвовать в образовании этой идеологии само общество? Где и кем создается архитектурная идеология?

„А таковыми учреждениями<sup>2)</sup>, — отвечает профессор Космачевский, — являются научно-художественные (?), архитектурные О-ва, как коллективные единства, связанные общими для всех интересами высшего порядка(?); т.-е. интересами научной истинности и художественности; Общества, построенные на психологическом законе всякого познания, т. е. стремления к обобщениям, выводам и предусмотрению. Только здесь может находиться душа зодчества“.

И далее, „перед какой большой задачей мы стоим, какие эмоции нас должны охватывать, чтобы мы могли прочувствовать всю ценность того сокровища, которое у нас сейчас в руках“.

Надо отдать справедливость буржуазной архитектуре, что она прекрасно сознает „ценность того сокровища“, которое у нее сейчас в руках.

Меня, однако, сейчас „охватывают другие эмоции“. Я не руковожусь сейчас „интересами высшего порядка, художественности“. Не у меня в руках ключи архитектурного счастья. Я не принадлежу к „специальному Обществу, построенному на психологическом законе всякого познания“.

Однако, я не осмелюсь сделать обобщение, что „душа зодчества“ не обязательно должна проживать по адресу Ленинградского О-ва Архитекторов. Наконец, я не совсем „бездушен“ к вопросам советской архитектуры.

Нельзя равнодушно смотреть, как „ценное сокровище“<sup>3)</sup> — идеология советской архитектуры — целиком отторгается в собственность закоснелой, реакционной, буржуазной, экивектической архитектуры.

Та „душа зодчества“, которая живет в Ленинграде, Мойка, № 83 — дряхлая буржуазная душа — это душа, воспитанная на эстетическом смаковании всевозможных стилей, развращенная художественной беспочвенностью, стилем русс, причудами своих прежних заказчиков.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 19.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 20 и 21.

<sup>3)</sup> Справедливость требует отметить, что в тех случаях, где проф. Космачевский остается на почве специальных технико-архитектурных рассуждений, он высказывает много ценных и вдуманных мыслей. Так, напр., он верно находит выводы, вытекающие из утилитарного назначения архитектуры.

Эклектизм по всему архитектурному фронту, — вот лицо сегодняшней русской архитектуры. Все стили, все формы — и ничего нового, все перемены, все реминисценции. Разве не прав Корбюзье, что „стили — это ложь“. Да, у нас стили лгут. „Рутинная душит архитектуру“ (Корбюзье).

Все это, кроме того, подогревалось „ремонтной эпохой“, из которой архитектура не вылезала во время войны. Это одинаково характерно и для Москвы и для Ленинграда.

### „Идея возрождения старины“ — лозунг сегодняшней русской архитектуры.

Эклектизм и старина. Старина и эклектизм. Два псевдонима того же автора.

Так, в том же „Зодчём“ редактор этого журнала проф. В. С. Карпович<sup>1)</sup> следующим образом „влияет на общество“:

„Мы должны, — пишет он, — найти новые пути, создать новое зодчество, и для этого нужно вернуться к эпохе, когда создавался сам народ.“

Назад к прадедам Островского!

И поэтому Карпович в качестве стандартного образца нового советского строительства предлагает взять северное деревянное шатровое зодчество XVII века.

„Идея возрождения старины должна быть принята, как основа нашего строительства в данный момент“<sup>2)</sup>.

Более откровенно выразиться нельзя. „Душа зодчества“ перед нами нараспашку.

„Идея возрождения старины“ — вот лозунг нашей архитектуры, вот ее боевое знамя, вот ее идеология. Не нужно думать, что это относится к одному Карповичу, что дальше мы и увидим.

Л. Д. Троицкий на прошлогоднем съезде металлистов с горечью говорил:

„Наша вся культура построена на дереве и сторает каждый год. Какая это культура!“

А здесь „мужиковствующий“ архитектор, без зазрения всякой совести, предлагает нам „рубить“ в городах олонечские избы.

Поистине нельзя зайти дальше в полном пренебрежении реальных жизненных интересов и в своем профессорском гурманстве.

Это, положим, и понятно, ибо профессор Карпович тоже „прозирает будущее“:

„Большой город, город казарм, — пишет он, — осужден навсегда. Мы переходим к „интимному дому“, возвращаемся опять на лоно природы и ищем забытых старых очагов наших прадедов“<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 30.

<sup>2)</sup> „Зодчий“, стр. 30. („Новое градостроительство и возрождение северной деревянной архитектуры“).

<sup>3)</sup> Там же, стр. 26.

Я понимаю скорбную фигуру седовласого русского интеллигента, растерявшегося среди современных „житейских бурь“, который стремится на „лоно природы“ и тоскует о своем „прадеде“. Я понимаю это и даже с некоторым человеческим сочувствием.

Но я возмущаюсь, когда мне это преподносят с кафедры, когда со всем академическим авторитетом заявляют о наступлении эпохи „интимизма“.

„Интимизм“ типичнейшее умонастроение для крайне буржуазных эпох и для эпох буржуазной демократии. Здесь не место входить в подробный разбор этого обстоятельства, которое с достаточной полнотой освещено в соответствующих социологиях эстетики и истории искусств<sup>1)</sup>.

Сейчас я хочу сказать, что у нас эта тяга к хорошо обмелюваным *interieur*'ам, цветным кирпичикам, „мореному“ дубу, с начищенными медными кольцами у дверей и сияющей бляхой у швейцара—у наших архитекторов получает громкое название „английской идеи коттеджей“. Эта же идея в другом виде затем проникает в проекты новой Москвы и на них кладет печать своего буржуазно-вегетарианского эстетизма, украшательского в худшем смысле этого слова, т. е. приспособленческого, идущего по линии наименьшего сопротивления.

Что, например, должны изображать колонны на Советской площади, оставленные от разобранной бывшей градоначальской пожарной части?

Этот выкроенный бескусный кусок полицейского ампира, поставленного для „красы“, своей художественной и всякой беспечностью заставляет вспоминать о разрушенном доме, который вероятно мог найти лучшее применение. Он вызывает также сильнейшее подозрение и о прочих разрабатываемых проектах новой Москвы.

Или может-быть, это сделано для того, чтобы советский обелиск не остался одинок на этой площади и его не постигла „но-стальгия“, как она постигла его парижского и луксорского собратьев по известному стихотворению Теофиля Готье?

Так или иначе „идея возрождения старины“ в нашей архитектуре за самыми редкими исключениями (братья Веснины—проект „Аркаса“, Татлин и др.) осуществляется по всему фронту. Где только возникает архитектурный конкурс, „старина“ устремляется туда, со всей своей нерастратченной силой юной „души зодчества“.

Это показал, напр., конкурс проектов Дворца Труда, 75 проц. которых были архитектурные переневы, а то и просто заимствования. „Нейтральные“ проекты Всесоюзной Сел.-Хоз. Выставки делались „под старину“. Даже какой-нибудь фасад Кузнечного рынка в Ленинграде и то дается в мотивах... итальянского средневековья.

<sup>1)</sup> Ср. напр. В. Гаузенштейн („Искусство и О-во“ стр. 26.) „Эпохи крайне буржуазного искусства охотно изображают человека, который испытывает приятное чувство от хорошо одетого тела, в хорошо обмелюванном интерьере. Живопись становится станковой, скульптура—индивидуальной пластикой“. Архитектура становится „интимной“.

### III.

#### Философия имманентной архитектурной формы.

Кроме эзотерического метода „интуиции“ и „прозрания будущего“ есть и другие аргументы возврата к старым формам. Таким „философским“ мотивом является указание на существование неких неизблемых архитектурных форм, понятных и свойственных человечеству во веки-веков. В этом нужно разобраться, ибо этот аргумент сохраняет видимость убедительности не только для узких спецов-архитекторов, но и для более широкого круга людей. Как из чего-то, само собой понятного, отсюда черпают объяснения самого безудержного украшения. Наконец, опасность заключается еще в том, что этот философский аргумент принимает самые разнообразные виды от историко-психологических до формально-логических.

Тогда, в последнем случае он упирается в общую проблему об имманентности художественного творчества, о соотносительности художественных произведений к некоторым постоянным внутренним законам, которые и должны являться критерием оценки и функции которых неизменны.

Путаница в понимании функциональной роли конструктивных и эстетических форм объединяет и Корбюзье<sup>1)</sup> и академика А. В. Щусева и даже т. Луначарского. Где здесь ключ? Надо разобраться. Есть ли первичные архитектурные формы, в которые упирается всякое строительство? А, ведь, отсюда делают вывод, что раз такие формы соблюдены, то архитектура делается неприкосновенной. Каковы же пределы художественного иммунитета?

Таковыми первичными формами, к которым должна вернуться архитектура, Корбюзье считает шар, куб, цилиндр, горизонталь, вертикаль и т. д. Они, по его мнению, чуть ли не органически присущи нашей психологии.

Почему эти формы присущи нашей психологии? Почему, наконец, оценка их нами не изменяется на протяжении всей человеческой истории?

Все это надо объяснить. Без материалистического объяснения все это звучит, как эстетический произвол. Как может использоваться пространственная форма? Для каких целей?

<sup>1)</sup> C'est que l'architecture, qui est chose d'emotion plastique doit dans son domaine commencer par le commencement aussi, et employer les elements susceptibles de frapper nos sens, de complot nos desirs visuels; et les disposer de telle maniere que leur vue nous affecte clairement par la finesse ou la brutalite, le tumulte ou la serenite, l'indifference ou l'interet; ces elements sont des elements plastiques, des formes que nos yeux voient clairement, que notre esprit mesure. Ces formes primaires ou subtiles, souples ou brutales agissent physiolodiquement sur nos sens (sphere, cube, cylindre, horizontale, verticale, etc.) et les commotionnent. (Corbusier Saugnier p. 8 paris 1924).



### Куб на новой должности по совместительству.

Поясним это на примере неверной оценки функциональной роли пространственной формы.

Академик А. В. Щусев так идеологически оправдывает оформление построенного им временного мавзолея Ленина: <sup>1)</sup>).

„Основная тема мавзолея: куб—символ вечности. Общая форма мавзолея—форма усеченной пирамиды, верхняя часть которой, напоминающая крышку гроба, приподнята на небольших стойках. Здесь завершение объема и всего мавзолея, аллегорически выражающего коллонадную идею увенчания“. В этой аргументации все вызывает недоумение. Было бы еще понятно, если бы куб был употреблен потому, что это технически оказалась наиболее удобная форма, но почему куб—символ вечности?

Оставляя в стороне вопрос об уместности прикрепления „символа вечности“ к могиле Ленина, надо спросить, почему именно данная пространственная форма выполняет, кроме своей прямой технической, еще и символическую функцию?

Почему вообще какая-либо пространственная форма может иметь какую-то „вечную“ изобразительную смысловую функцию, функцию символического воздействия на создание людей и организацию последнего по желательному (понятно, для этой формы) направлению?

В таком случае обыкновенная поваренная соль сплошной символ вечности, потому что, как известно, кристаллы хлористого натрия имеют форму правильного гексаэдра (куба).

### Точка зрения Ленина на роль памятников.

Ленин придавал большое значение архитектурной и скульптурной пропаганде. Ленин первый возбудил вопрос о постановке памятников Чернышевскому, Некрасову, Добролюбову и другим.

Поднимая этот вопрос, Ленин считал, что эти памятники все же не должны быть какими-то абстрактными геометрическими символами освободительных идей, защищавшихся этими людьми.

Памятники—это самое действенное напоминательное средство, чтобы через внешний облик этих людей привлекать внимание к той общественной роли (исторической), которую они играли в свое время. Это есть наглядная историко-классовая пропаганда.

Отвлеченность, стилизация, безпредметничество в таком деле—вреднейшая вещь, ибо отпугивает массы затемнением смысла скульптуры.

Так, люди, которые идут к мавзолею Ленина, вовсе не вдохновляются его кубической формой. И если у нас возникает тогда

<sup>1)</sup> Газета „Вечерняя Москва“ № 83 от 9 апреля 1924 г. и та же газета от 20-1-24 № 20 (40).

мысль о вечности, то вовсе не в связи с кубом, а из сознания неизмеримого, всемирно-исторического значения Ленина для судеб всех людей. ибо могилой Ленина обозначен новый меридиан вселенной, меридиан новой эры коммунизма.

Почему же „символические“ функции куба теперь не доходят до нас?

### Точка зрения истории на роль форм.

Происходит это потому, что куб утратил эти свои свойства несколько тысячелетий назад.

Происходит это потому, что всякие „формы“ и трехмерные и линейные, и эстетические, и всякие иные наделяются разными свойствами той производственно-экономической эпохи, которая эти формы образовала или в которой эти формы обнаружили, укрепились, действовали.

Нет форм, от бога получивших за наследство или в неограниченный кредит его божеские атрибуты вечности и т. д. Все формы или точнее—служебная роль всех форм—подчинены материалистической диалектике истории.

Если формы запаздывают и навязывают потом свои устаревшие функции в новой производственно-экономической обстановке, то у этой „формы“ эту „функцию“ отнимают, и отнимают насильственно, будь эта функция „царской власти“, или будь она (форма) вполне светски приличной, парламентарной формой справедливой демократии.

Функциональная разница в этом случае, между политической и пространственными „формами“ заключается в том, что носителями политической формы являются господствующие классы, которые даром своих „функций“ не отдадут; пространственные же формы пассивны и „символическим“ функциям, которыми их наделяют, и опираются на природные законы зрения, тяжести и т. д.

Все дело не в форме, а в функциональных взаимоотношениях форм-надстроек и материальной базы.

### Биография куба.

Что касается куба, то эта форма считалась „вечной“ в древних ассирийских и халдейских монархиях.

Причин этому было две. 1-ая—куб (каменный кирпич) был технически простейшей, конструктивно-пластической формой для каменных пород юго-западной Азии. Куб был как бы первоначальной количественной, архитектурной единицей, древним архитектурным „квантом“, который, обрабатываясь миллионы раз, образовывал эти грандиозные постройки: Ксеркса, Дария, Кира.

Куб был основной единицей того количественного стиля, который В. Гаузенштейн, считает так характерным для всех феодальных культур<sup>1)</sup>.

Вторая причина почему куб в древних вавилонских странах вошел в сознание народа, как символ вечности—это иератическая недвижность, окаменевшая маска тысячелетий древней Персии.

Эти монархи-колоссы, простирившиеся на огромные пространства, опиравшиеся на рабство и на, в сущности, примитивную хозяйственную организацию; эти династии, которые царствовали по тысяче лет, этот дикий консерватизм и одурачивающее великолепии деспотических дворов, эта гипнотизирующая статуарность всей древней персидской жизни, объяснявшаяся чрезвычайно медленным экономическим прогрессом, этот тяжко утрамбованный веками быт—все это создало в сознании народа иллюзорно стойкое соответствие между отложившимися формами и всей жизнью.

Первоначально возникнув, как геологически совершенная техническая форма—куб лег затем в основание всего жизненного стиля древней Персии, Ассирии и Халдеи.

В сознании древнего перса и вавилонянина, куб потерял свои первоначально технические признаки, но вставленный в колоссальную раму всего древнего, феодально-монархического могущества, куб приобрел формально-исторические черты этого могущества—вечность.

И так велика сила архитектурной инерции, что теперь через десятки веков, как мы видим, эта пространственная форма сохраняется и поныне свое метафизическое значение.

И так как куб продолжает оставаться технически удобной архитектурной формой, то метафизика прячется за его ширмой, оправдываясь вечными архитектурными законами.

И не зря конечно проговорился А. Шусев о символе вечности. Это не оговорка. В этой мелочи, как мы увидим на примерах ниже, скрывается целое мировоззрение.

Наконец, имманентное оправдание формы облачается в совсем неуловимые, но тем более опасные, формулировки.

1) „Едва ли можно представить себе более удивительную форму выражения для художественной идеи количественного стиля, чем пирамиду. Она является объяснением и древне-восточного стиля изображения того тела. Что такое пирамида? Она есть наиболее художественная формула для количественной культуры; она в наиболее остром смысле слова суммарна; она есть чудовищная совокупность тысяч энергий, обреченных на отбытие барщины. Геродот уверяет, что для воздвижения Хеопсовой пирамиды оказалось необходимым привлечь сто тысяч рабов, что постройка подъездного шоссе потребовала десять лет, подвоз камня три месяца, а постройка пирамиды—двадцать лет. Таков метод образования форм деспотизма: помпезное сложение многих равных отдельных сил, функций которых не квалифицированы и не дифференцированы, но являются просто количественными единицами. Сравним с этим факт, что над постройкой Эйфелевой башни одновременно никогда не было занято больше четырехсот пятидесяти рабочих и пяти инженеров, и что между возникновением проекта и окончанием башни прошло три года“. (В. Гаузенштейн „Искусство и Общество“ 1923 г. издат. „Новая Москва“ стр. 49).

## Идеологическая ловушка.

Чтобы до конца провентилировать самые укромные углы архитектурной идеологии, разберем и этот случай на примере. Так А. В. Луначарский в статье „Промышленность и искусство“ пишет об „основных законах простого, прекрасного, пропорционального, целесообразного, убедительного, устойчивого, гармоничного и вместе с тем богатого, насыщенного, которое лежит в глубине каждого истинного шедевра, которое можно только затмить современем и которое потом всегда выплывет и займет свое несокрушимое место в сокровищнице человечества через 200—300 лет, две или три тысячи лет после того как шедевр родился“<sup>1)</sup>.

В другом месте А. Луначарский пишет „о куполе общечеловеческих ценностей“, который социализм воздвигнет над индивидуальной личностью.

Этими словами А. Луначарский опровергает функциональную изменимость (напр. художественные оценки технического использования и т. д.) „надстроек“ и форм от материально-экономической базы.

Почему образовались „основные законы“? По разному ли относятся люди к этим законам в разные времена? Почему создались вечные шедевры, или какой-то купол, который остается неизблемым во все века, доживет до социализма и последний его поддержит? Какая это неизбежность—функциональная или абсолютная?

Понятно, что это рассуждение А. Луначарского целиком примыкает к разобранному нами выше случаю с кубом. В самом деле архитектура, благодаря своим „основным законам“, тоже будет справедливо претендовать на место в „куполе для своих тысячелетних шедевров“.

Будет ли этот купол, составленный из шедевров, покрывать музей или всю будущую жизнь? Где же объективный критерий для служебной оценки шедевра? Ведь, тогда архитектурные сооружения приобретают абсолютный смысл, делаются неприкосновенными<sup>2)</sup>. Надо же объяснить.

Выдвигание вперед „основных законов“ или „форм“ без материалистического (социо- или биологического) объяснения подчеркиваемой Луначарским тысячелетней актуальности этих форм—создает величайший идеалистический соблазн.

1) А. В. Луначарский. „Искусство и Революция“, стр. 86.

2) Прим. Вот пример двух различных точек зрения оценки архитектурных шедевров: абсолютной и служебной. Когда „абсолютист“ А. Луначарский был совершенно потрясен тем, что пушки Октября валялись купола Василия Блаженного, Ленин сказал г. Луначарскому: победи, мы важ построим десять таких Василиев Блаженных.

Норма прекрасного есть категория исторического и конструктивного порядка, а не только формально-абсолютного.

Что же? Эта эстетическая актуальность, может быть, присуща самим формам? Или „основным законам“? Или, может-быть, она стоит в условиях всякого архитектурного опыта (построения)? Может-быть, эти основные законы имеют трансцендентальный характер?

Ошибка первого рода (онтологическую, Аристотелевскую) делает академик Шусев.

А вот, например, образчик своеобразного „архитектурного“ кантализма. И это вовсе не идеологии архитекторов прошлого столетия. Эти рассуждения предлагаются нам сегодня. Эта идеология сегодня хочет „влиять на общество“.

Теория проектирования архитектурных сооружений есть методология мышления (?), сопровождающего процесс проектирования“,— пишет архитектор А. Р. Розенберг<sup>1)</sup>.

Методология мышления, т.-е. логика, отождествляется целиком со специальной теорией. Масляное масло.

Какая же функциональная роль логики?

Разгадка проста. Немудрено, что архитектурные законы ничем не отличаются от логического аппарата человека. Они, оказываясь, коренятся в тайных устройствах человеческой природы.

„Проникновение в тайны гармонии законов архитектуры,— пишет А. Розенберг,— еще долго (а, может-быть, и навсегда) будет покоиться на личных свойствах изучающего архитектуру, на заложенных в нем дарованиях, развивающихся каким-то непонятным для нас образом в чувство формы“ (курсив автора).

Экономический принцип архитектуры, по мнению А. Розенберга, „не является результатом опытов органической жизни, а, наоборот, он должен существовать до всякого опыта, как и все законы природы“.

При таком обороте дела „ценное сокровище“ „основных законов“ оказывается целиком заложенным только в архитекторах. Это придает носителям архитектурной идеологии почти жреческую значительность и вызывает величайшее суеверное уважение к ним со стороны всего общества.

<sup>1)</sup> Арх. А. Розенберг, „Философия архитектуры“, Петроград, 1923 г., стр. 11. Эта брошюра, носящая такое монументальное наименование, представляет ряд совершенно формальных и часто произвольных схем, изложенных, как сказано, в канталистском духе. Так, архитектор говорит об основных принципах организации процесса, которые должны быть предъявлены ко всякой организации, и называет при этом санитарно-гигиенические требования. Но, а как же, если организуется стихотворение. Может-быть, там тоже есть профилактические принципы.

## Философия — служанка буржуазной архитектуры.

Так подробно на различных оттенках используемой архитектурой философия и остановился не случайно. В этих идеологических оттенках, как в просторных складках плаща, укрывается вреднейшая архитектурная реакция.

Основательная расчистка этих идеологических позиций нужна еще потому, что имманентная эстетика („не превзойденных шедевров“) является сильнейшим идеологическим тормозом вообще в развитии нового искусства.

И пагубна она не только в архитектуре. В равной степени она дает возможность отсиживаться под прикрытием „вечных эстетических ценностей“ всем консерваторам и гурманам. Это отсиживание коверкает даже программы наших ВУЗ'ов (см., напр., стат. Н. Купреянова: „Полиграфия в художественных ВУЗ'ах“, Леф № 4).

Наконец, не случайно и то, что все архитектурные перемены питаются от самых древних культур (в Англии возврат к египетскому стилю). Интересно, что у нас тоже в архитектуре этот уклон в вавилонский грех имеет повальный характер.

Целый ряд ассиро-халдейских мотивов был, напр., представлен на нашей выставке проектов . . . . Дворца Труда<sup>1)</sup>.

Так буржуазная архитектурная мысль „израстически“ трактует обнажившуюся классовую структуру современности.

Так или иначе, но бессознательное влияние этой древней архитектуры у нас несомненно.

## Дословный перевод с древне-персидского.

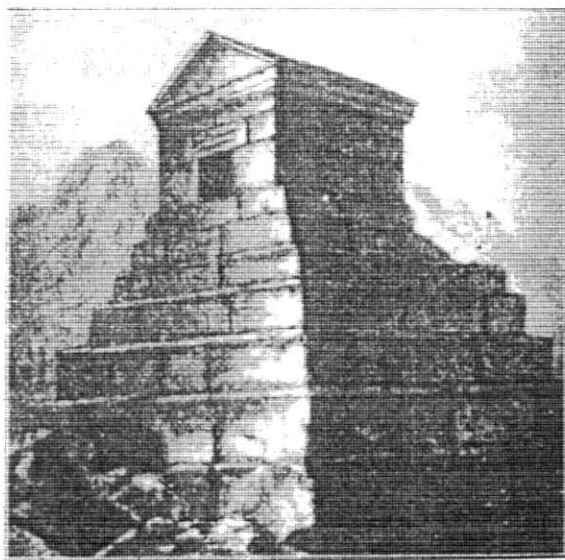
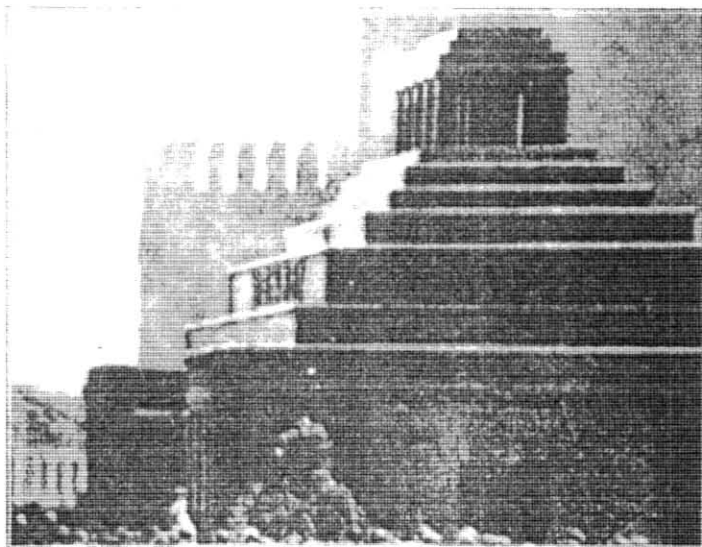
Это влияние заходит очень далеко. Я не знаю, как так получилось, но тенерешний временный мавзолей, поставленный на могиле Ленина по проекту академика А. В. Шусева, является по своим архитектурным формам полным подобием такого же мавзолея, но сделанного из камня, на могиле царя Кира близ города Мургаба, в Персии, и известного еще за четыре века до начала христианского летоисчисления.

Этот дословный перевод с древне-персидского говорит самым ярким, самым доказательным образом, что идеологический багаж современной русской архитектуры нуждается в подробнейшем таможенном досмотре.

Далеко с таким багажем не уедешь!

И в самый ответственный свой час наша архитектура не нашла ничего, как повторить заученную фразу о символе вечности на непонятном нам и давно умершем языке.

<sup>1)</sup> Свой проект Дворца Труда я изложил в статье „Стиль и сталь“, „Извест.“ от 1/VI—23 г.



#### IV.

### Идеология советской архитектуры.

Теперь нужно определить, каковы те элементы, что должны составлять идеологию новой архитектуры и всего социалистического строительства.

С самого начала надо предостеречь от легкого решения задачи. Здесь перед нами огромная проблема, а вернее, не одна, а целый ряд важнейших проблем, тесно связанных между собой.

Сюда входят и общие, примыкающие к нашему предмету, вопросы марксизма, вопросы жилищного строительства и вопросы строительного права и строительной политики, и промышленности, и законодательства, и, наконец, архитектурного стиля и т. д., и т. д.

Каждая такая отдельная область требует детальнейшей разработки и участия в ней не одного лица и не только специальных Обществ, а всей рабочей культурной общественности.

Я только хочу здесь дать попытку общей ориентации направления или стиля новой архитектуры. Но главную свою задачу я вижу в том, чтобы широкой постановкой вопросов продвинуть архитектуру, как я сказал, в центр общественного внимания.

Я вначале определил стиль нашей эпохи, как стиль конструктивистский, стиль инженерный по преимуществу.

Что это значит? Какие факторы влияют на создание такого направления? Какую роль играет марксизм в образовании архитектурного стиля? Или что объясняет он нам в этом?

### Марксизм и архитектурный стиль.

Развивая до предела этот вопрос, З. Циммер ставит его в своей статье „Мировоззрение и формы стиля“ так:

Если стиль есть не что иное, как выражение идеологии, мировоззрение своего времени, то и современный художник, поскольку он является сторонником прогрессивного, преследующего определенные цели в будущем мировоззрения, вынужден эмансипироваться от старых форм стиля, создать свой новый стиль<sup>1)</sup>.

Иначе говоря, может ли здание быть выразителем пролетарского мировоззрения?

З. Циммер правильно доказывает, на ряде примеров, что нельзя переводить вопрос о стиле целиком в область идеологии, что не только идеология (христианская) определила

<sup>1)</sup> „Мировоззрение и формы стиля“ З. Циммер, „Вестник Социалистической Академии“ № 4, 1923 г., стр. 362.

архитектурные формы готических соборов, но и техническая логика их развития.

Это совершенно верно. Но какая же в таком случае зависимость между идеологией и стилем эпохи? Какие же специальные пролетарские требования мы можем предъявить к архитектуре и как это на архитектуру повлияет?

Мы скажем тогда, что пролетариат может дать архитектуре только общую задачу, а архитектура будет ее разрешать в плане своей технической логики, т.-е. приспособлявая эту задачу к строительным законам и особенностям.

Как же возникает такой „заказ“ архитектуре? Возникает он через идеологию.

### Бетонированная площадка.

Я поясню это классическим рассуждением Плеханова, которое должно послужить бетонированной площадкой архитектурной идеологии:

„На данной экономической основе возвышается его надстройка. Но, с другой стороны, каждый новый шаг в развитии производительных сил ставит людей в их повседневной житейской практике в новые взаимные положения, несоответствующие отживающим отношениям производства. Эти новые, небывалые положения отражаются на психологии людей и очень сильно ее изменяют. В каком же направлении?

Одни члены Общества отстаивают старые порядки—это люди застоя. Другие,—те, которым не выгоден старый порядок,—стоят за поступательное движение; их психология видоизменяется в направлении тех отношений производства, которые заменят современем старые, отживающие экономические отношения.

Приспособление психологии к экономике, как видите, продолжается, но медленная психологическая эволюция предшествует экономической революции“<sup>1)</sup>.

„Но разве же это не две стороны одного и того же процесса“,—восклицает Плеханов.

И разве же это не вскрывает блестяще, как зарождаются новые требования к архитектуре, воскликнем мы.

В противовес, как говорит Плеханов, „людям застоя“, людям „идеи возвращения старины“ и возвращения к ассирийским „прадедам“ возникает новая архитектурная идеология, которая является зародышевым предвосхищением той техники и производства, которое развернется в следующую за нашей переходной эпохой, т.-е. в эпоху социалистическую.

„Люди застоя“ поворачиваются лицом к старой отжившей технике—деревянной архитектуре, мечтают о „северном воз-

1) Г. Плеханов „К развитию монастического взгляда на историю“.

рождения“ (как, напр., Дягилев), о прекрасных временах „интимных домиков“ и о прочем. Люди, которым не выгоден старый порядок“ (т.-е. пролетариат в данном случае) стоят за „поступательное движение“.

„Эволюция“ в идеологии архитектуры—„предшествует“ революции ее. Такова диалектика архитектуры.

### „Наша эпоха каждый день указывает свой стиль“.

Какие же это новые производственные отношения и техника, на которые ориентируется новая архитектура?

„Великие проблемы завтрашнего дня, диктуемые коллективными нуждами, ставят наново вопрос плана. Во всех областях индустрии поставлены новые проблемы и созданы орудия, способные их разрешать. Если этот факт сопоставить с прошлым, то получится революция“.

„Проблема дома не поставлена. Современное состояние архитектуры не соответствует нашим нуждам. Однако, имеются стандарты жилья. Механика заключает в себе экономический фактор, который производит подбор.

Дом есть машина для жилья.

Великие проблемы новейшей постройки осуществляются на геометрии“.

Вот лозунги западной архитектуры. В них гипнотизирующее дыхание современной инженерии смутно предчувствует новое социалистическое единство будущих производственных отношений.

„Стили осаждают нас, как паразиты“, восклицает Корбузье—Сонье.

„Существует единственное ремесло—архитектура, где не чувствуется необходимости прогресса, где царствует лень, где ссылаются на вчерашнее“.

„Бетон, железо трансформировали совершенно конструкции, известные до сих пор, и точность, с которой эти материалы применяют к теории и вычислениям, дают каждый день результаты, которые являются ободряющими“.

„Материалы, которые мы теперь употребляем, не поддаются действиям декоратора“.

Новые производственные отношения будут прежде всего покинты на стройности плановой слаженности и общей конструктивности.

В основе этих отношений не будет больше лежать разрушительный, анархический режим частной собственности. Различные производства не будут более через свою продукцию сталкиваться на рынке и, сталкиваясь, разъединять и индивидуализировать людей.

Новый производственный мир будет высоко коллективистическим миром, которому сулячи повадки всякого „интимизма“ будут органически чужды. В них тогда справедливо будут видеть проявление анти-общественного, замыкающегося в себе духа.

### Коллективизм, как стилевой признак.

Вот почему сегодняшним людям, психология которых уже совершила авансом эволюцию к тому времени, которые уже психологически приспособились к будущим производственным отношениям—этим людям, я говорю, гораздо ближе по духу общественные читальни, спортивные залы, столовые, библиотеки, классы, театры, дома—коммуны, нежели „Рескино—Фордовские идеалы уютного, одинокого коттеджа, пропадающего в зелени, среди дорожек, усыпанных песком, тихие идеалы собственной коровки с ее молочными железами, честно работающими на своего хозяина.

Это не значит, что таким людям непременно строй небоскребы вверх до 7-го колена. Нет. Наши города должны быть чисты, полны зелени, света и воздуха, но это также вовсе не значит, что „новая Москва“ окончательно должна превратиться в большую деревню, в духе „северного деревянного возрождения“ с египетскими обелисками на перекрестках.

Гигиена города будет приспосабливаться к потребностям коллективизма, а не наоборот коллективизм к садовому отделу МКХ.

### Динамика.

Новые производственные отношения, которые будут опираться на неслыханно интенсивную технику, будут затем в высшей степени динамичны.

Величайшая динамичность—вот другой стилевой признак эпохи.

Эта динамичность, однако, не будет иметь ничего общего с современной городской лихорадкой капиталистических Вавилонов.

Наоборот. Совсем, наоборот. Теперешняя динамичность и ускоренность городской жизни является продуктом крайней эксплуатации людей, следствием физического и нервного перегруза.

Будущий динамизм будет продуктом величайшей технической нагрузки, величайшей эксплуатацией вещей.

Он заменит трамвай более удобной системой движущихся троллейбусов. Он сделает дома поворачивающимися к солнцу, разборными, комбинированными и подвижными.

Этот динамизм чрезвычайно разовьет воздушное или прямое подземное сообщение. Он сильнее облегчит людям связь между собой. Связь—городам и странам, и народам.

В сторону технической грузофикации и динамики—тоже ориентируется новая архитектура. А разве хоть какой-нибудь намек на это имели мы в проектах Дворца Труда?



### „Дематериализация“ культуры.

Наконец, новая архитектура ориентируется на новые строительные материалы? Какие это будут материалы?

Технический прогресс культуры обозначен т. в. принципом грузофикации. Увеличивается коэффициент силовой нагрузки путем выталкивания посредствующих материальных членов. Тяжелая, инертная, конструктивно-неиспользуемая материя выбрасывается.

Этот экономический принцип идет через всю историю техники.

Кривая веками ползет вверх. На плечах машинной индустрии она прыгает в XIX столетии.

Эта кривая обозначает вместе с увеличением энергетической нагрузки и смену материалов.

Пояски новых материалов идут все время в сторону более легких, более динамичных (конструктивных функциональных). Сила в победе над весомостью.

Это есть своеобразная „дематериализация“ культуры, дематериализация, разумеется, в кавычках, т.-е. относительная, функциональная.

Поясню это примером. Возьмем любую техническую отрасль, напр., средства связи или химическую промышленность, или какую иную.

Мы везде увидим эволюцию, характер которой определяется увеличением коэффициента нагрузки.

Сначала средством связи был гонец—устная передача, затем материальная дощечка—письменная; затем дощечка „дематериализуется“ в бумагу. Большие смысловые передачи „нагружаются“ на более тонкий материальный упор.

Передача писем ускоряется сначала при помощи животной двигательной силы, затем железными дорогами, автобусами, наконец аэропланами. Динамизация непрерывно увеличивается.

Наконец требования хозяйственной жизни городов вызывают к жизни телеграф. Телеграф, освобождается от проволоки, „дематериализуется“ в радио-телеграф.

Дальше. Без „посредствующего члена“—проволоки начинают передавать не только смысловые обозначения, но и зрительные изображения, человеческий голос и т. д. Единица материя используется максимальной образом.

Наконец, общие очертания этого процесса мы видим и в „настройках“, в различных идеологиях, которые методологически приспособляются к обслуживанию все более расширяющегося круга понятий. Напр., вся история философии, рассмотренная с этой точки зрения, есть движение по пути уточнения метода.

Сравнительно, „статистическим“ антологиям древних, (напр. пример античным антологиям Платона или Аристотеля)—проти-



востоят теперь диалектика Гегеля. Эта диалектика затем функционально используется Марксом, который, поставив ее на ноги, сделал упором, нагружающим явления всего мира.

Повторяю, это крайне грубая схема. Все дело заключается в различных функциональной роли идеологических ударов в различных исторических обстоятельствах, когда эти идеологии возникали.

Диалектика была и у древних, но она тогда обращивалась в статические, онтологические тона, а не конструктивные, как теперь. Путь от идеалистических учений о сущностях к современному материализму, рассмотренный с точки зрения технической эволюции философии, оказывается, в своем главном направлении совпадает с путем технической эволюции производства.

Здесь не место давать объяснения этой в высшей степени интересной проблеме. Надеюсь, что основная мысль ясна.

Увеличивая сумму энергий, извлекаемых из материи, люди стремятся сделать физическим носителем (упором) материю же. Методологические эффекты, извлекаемые из новых логических построений—экономят число первичных постулатов или констант.

Отыскиваются все более способные, равносильные, интенсивные материалы. Каменный век сменяется веком бронзы, последний веком чугуна, затем железа и стали.

Животная сила заменяется паром, а последний электричеством.

Академик А. Ферсман в своей интереснейшей речи на прошлогоднем съезде физиков высказал предположение о переходе мировой промышленности на более „дематериализованный“ легкий металл—алюминий и его стойкие сплавы (дур-алюминий и т. д.).

Это объясняется также и тем, что земная кора гораздо более богата алюминиевыми рудами, чем железными.

Алюминий быстро прокладывает себе дорогу в технике (начиная с аэроплано-строения, где „весомость“ стоит на дороге), завоевывает все новые ее отрасли, вытесняя „тяжелые металлы“.

Наконец, последнее открытие академика А. Иоффе, которое было встречено европейской наукой, как мировое событие, тоже проливает свет на возможные перспективы в этой области.

Я говорю об опытах А. Иоффе с увеличением конструктивного сопротивления материалов, которые доселе считались совершенно непригодными для силовых строительных установок—соли, стекла и т. д. Пока это еще в лабораторной стадии, но этот пример, который сулит переворот в строительстве, ярчайше показывает куда оно эволюционирует.

Наука—забойщик промышленной техники—хочет извлечь из материи максимальный конструктивно-технический эффект.

### Строительные материалы новой архитектуры.

Каков отношение имеет все это к новой архитектуре?

„Эстетика инженера и архитектора—две вещи солидарные. Одна в полном расцвете, другая в печальном упадке“ (Корбюзье-Сонье).

Архитектура—двушала. Она не просто обслуживает—она хочет воодушевлять.

И все, что содержит в себе искусство, не подвергается непосредственному воздействию технического процесса грузификации. Вернее этот процесс идет через окольные эстетические пути. Он задерживается, видоизменяется, принимает художественную личину.

„Инженеры строят современные орудия. Все, исключая домов и гнилых будуаров“.

Архитектура страдает техническим „хвостизмом“.

Архитектура продолжает целиком еще жить в мире камня. Но каменный век окончился. Камень, как строительный материал уже умирает.

Камень, косный и хрупкий, изжил свои технические возможности.

Готика была лебединой песней камня. Буквально—его последним взлетом. Готикой оканчивается история каменного величия архитектуры.

После готики ничего серьезного не сделано в области архитектурно-технического использования камня. Такой легкости, изящества, такой игры с весомостью камня поздняя архитектура уже не знает.

„Новые задания, пишет уже цитированный нами проф. Космачевский, стали превалировать, и практика жизни потребовала от зодчества перекрытия больших пространств. Каменно-кладочная система уже не могла удовлетворять этим требованиям.“

Принцип тяжести и трения со своими пределами прочности и устойчивости оказался не достаточным. И вот жизнь толкнула техническую жизнь вперед, и последняя создала новую систему перекрытий: стержневую.

Камень уступил место в силовых частях сооружений железу, раздвинувшему рамки перекрывающих конструкций. Железо со своей фермой совершило переворот в гражданском строительстве, сделавшись в то же время по понятным причинам, лишь силовым материалом, оставив за камнем роль массива здания, носителя внешних архитектурных форм“.

### Причины архитектурного хвостизма.

Новые материалы, которые родила экономика—не созданы для декораций. Декорацией стал камень. Это материал бутафорских мастерских архитектуры.

„В то время, как в поэзии, пишет Космачевский, ложноклассицизм уже давно нажит, в архитектуре он жив до сих пор. Это на первый взгляд загадочное явление делается ясным, если принять во внимание, что поэзия, как род искусства,

гораздо более подвижна, не связана с утилитарной жизнью, как зодчество. Архитектура же прежде всего по существу утилитарная техника<sup>4</sup>.

Разгадка проф. Космачевского не верна. Несчастье архитектуры было именно в том, что она не связывалась с утилитарной жизнью. Архитектура плелась за техникой и навязывала последней свои художественные интересы, свои строительные материалы и свою отсталую технику.

И, как-раз наоборот, отсталость и „ложно-классицизм“ архитектуры получились не от ее близости к технике, а от пренебрежения ею.

Но главная причина была в том, что архитектура была искусством, стоявшим под непосредственным влиянием феодалов и буржуазии.

Архитектура всегда подчинялась требованиям правящих, а стало-быть, и строивших классов. Вспомним, хотя бы, ставшие знаменитыми российско-купеческие архитектурные причуды: мавританские особняки, турецкие, индийские, рыцарские комнаты и т. д.

Поэзия же, напротив, подвергалась классово-общественному влиянию через сложнейший передаточный аппарат быта и всей суммы культурных надстроек.

Архитектура нуждается поэтому прежде всего в исправлении перспектив. Да, ее нужно сделать прежде всего утилитарной техникой, а затем искусством. В этом и заключается ее главная задача.

### Новые руды и машины рождают.

Вот почему социалистическая архитектура, ориентируясь на технику, будет ориентироваться и на новые строительные материалы.

Это значит: на дур-алюминий, железо-бетон, стекло, асбест, прессованные легкие огнестойкие массы и т. д.<sup>1)</sup>

1) В Толбаке, во Франции недавно окончен огромный холодильник. Там вошли только крупницы песка и железного шлака. Эта постройка содержит огромный груз, несмотря на то, что ее перегородки всего в 11 сант. Тонкие стены прекрасно предохраняют от разницы температуры.

Кризис железнодорожного и всякого транспорта сделал ощутимым громадный толчок современных домов. Вдруг обнаружили, что дома слишком много весят. Война вывела из оцепенения. Заговорили о тейлоризме. Закон экономики провозглашает свои права: профильное железо, крепчайший цемент вытесняет старинное деревянное бревно с его предательскими узлами и негодностями. Проектируются новые дома „Моноль“, которые весят в 4-раза меньше обыкновенного каменного дома.

Промышленность, как река, захлестывает архитектуру. Наступают шеренгой новые материалы. Имья им легки: цемент, стекло, керамика, изолирующие вещества, дур-алюминий, система труб, железная и медная обшивка, новая штукатурка и т. д. Они съезжают архитектурные стили.

Корбюзье-Сонье рассказывает, как защищалась старая архитектура от этого великого похода техники: при восстановлении железнодорожных зданий на севере Франции был образован ряд комитетов и комиссий. На линии

Проблема нового стиля это проблема новой руды. Победа нового стиля это победа конструктивизма.

Уже этот курс на новую технику—явление нового стиля.

Эстетика становится на колени. Потом она примиряется. Потом она сдружается. Она одушевляется новым пафосом и новыми ритмами.

Для новых людей, психология которых полна будущими производственными отношениями, техника ближе отвечает всему порядку их чувств.

Из нее вырастает новый художественный вкус.

Разве, напр., железнодорожное строительство, еще 50 лет назад считавшееся „эстетическим оскорблением природы“, не получило теперь полного художественного признания?

Старая архитектурная эстетика должна будет признать машину. Чем позднее это она сделает, тем дороже это ей будет стоить.

Даже Л. Троцкий, который никак не заподозрен в „крайности“ конструктивизма пишет, что „будущий большой стиль будет не украшающим, а формирующим“, где „на передний план выдвинется непосредственное сотрудничество искусства со всеми отраслями техники“<sup>1)</sup>.

Динамическая разносторонность здания, силовая эффективность, использование материала и сейчас гораздо художественно-выразительней для нас, нежели мертвый каменный орнамент. Будущий город—это город движения.

Если теперь в Америке строят передвижные и разборные дома, то скоро будут строить комбинированные дома, дома с меняющейся расстановкой комнат, мебели и т. д.; дома приспособляющиеся к движению солнца.

Навонец, в будущее архитектурные формы окажется вкрапленным электричество в виде своих разнообразных приборов, радиомембран, отопителей, динамо и т. д.

На все это ориентируется новая архитектура. Все это войдет составным элементом в сложное явление нового стиля, который и назвал конструктивистским по преобладанию в нем техники.

### Два слова о конструктивизме.

Советской России до-зарезу нужна техника, развитая техника решительно во всех областях культуры.

Этот период наступления на технику широким фронтом есть переходный период к социализму, конструктивистский период.

Париж-Диеп нужно было выстроить 30 станций. Комитеты и комиссии представили 30 проектов в 30 различных стилях. 30 станций, восклицает Корбюзье, пробегаемых экспрессом, каждая имеет свой колмик, яблоку, принадлежавшие исключительно ей и выявляющие ее характер, ее душу и т. д.<sup>2)</sup> Идея серия ненавистна архитекторам и обывателям.

1) Л. Троцкий. „Литература и революция“ стр. 185.



И конструктивисты—это те люди, как говорит Плеханов,— „которым невыгоден старый порядок“ отвлеченно-эстетического украшения и они со всей силой, новой разгибающейся пружинной идеологии напирать на технические задачи, иногда с полным невниманием к художественным.

Однако, отсюда еще очень далеко до узколобого ликвидаторства искусства и выкидывания последнего за борт. Ни один серьезный конструктивист не станет отрицать громадного значения в архитектуре—искусства. Все дело только в том, чтобы последнее поставить на надлежащее, сообразное с практическими целями, место и использовать искусство функционально.

### Ренессанс Госплана.

Наконец, и это самое главное, социалистическая архитектура возродит гигантские планировки, монументальность, возродит идею архитектурных ансамблей, разбитую капиталистическим рынком, превратившим архитектуру в базар, дисгармонирующих друг с другом зданий и „стилей“.

Плановость—это жизненный стиль победившего пролетариата. Это форма его отношения к хозяйственной русской „стихии“, это конструктивный упор всей его деятельности.

Эта плановость найдет также свое выражение, полное пафоса высокого коллективизма, всенародной трудовой славы и увязки—в громадных архитектурных замыслах перестройки наших городов.

Каждое новое здание или памятник, строящийся теперь, должен быть подготовлен, чтобы войти составной частью в будущий, социалистический архитектурный ансамбль. У нас мало об этом думают. Попрежнему наши проекты носят изолированный характер и ориентируются только на самих себя. Даже такие гигантские проекты, как Дворец Труда, были лишены чувства будущего архитектурного ансамбля.

Новая архитектура—это не ряд гримас, это ясное лицо коллективизма.

Без этой ориентации нельзя сейчас строить новые дома и различные архитектурные сооружения.

„Нет никакого сомнения, пишет Л. Троцкий,—что в будущем и чем дальше, тем больше, такого рода монументальные задачи, как новая планировка городов-садов, планы образцовых домов, железных дорог и портов,—будут захватывать за живое не только инженеров—архитекторов, участников конкурса, но и широкие народные массы.

Муравьиные нагромождения кварталов и улиц: по кирпичицу, незаметно из рода в род—заменяется титаническим построенным городов-деревень по карте и с циркулем. Вокруг этого циркуля

пойдут истинно народные группировки за и против, своеобразные, технико-строительные партии будущего“<sup>1)</sup>.

Борьба за „циркуль“, однако, должна возникнуть не в отдаленном будущем, когда практически приступат к выполнению этих планировок.

Эта борьба уже ведется сейчас проектами и „предварительным теоретизированием“. Происходит предварительная артиллерийская подготовка архитектурной идеологии для предстоящих практических боев. Кое где начинают строить, завязываются первые архитектурные стычки.

И разве не является событием громадного общественного значения, когда архитектурный циркуль проходит через могилу Ленина или Дворец Труда?

### Разворачивайте архитектурный фронт.

Разве уже не ведется подготовка умов к архитектурному „возрождению старины“? Куда собирается взять курс „утлая ладья“, теперешней нашей архитектуры? Кто теперь ее идейный кормчий? Где и кто определяет ее идеологию?

А, ведь, через предварительный, широкий идеологический охват только и возможен затем охват практический. Это блестяще показывает пример той роли революционного марксизма, которую последний сыграл во всей истории Октября. Там где искривлялась или совсем отсутствовала марксистская идеология, там революция была фальшивой, там сбывалась, там был меньшевизм, эсерство во всех видах и т. д.

Не нужно думать, что буржуазная архитектурная идеология не может оказать влияние на теперешнее советское строительство. Наоборот, она слишком оказывает влияние. Опираясь на нашу экономическую разруху, эта идеология является отражением теперь самых консервативных, российских общественных слоев. В условиях хозяйственного „либерализма“ эта идеология находит себе и материальную опору.

Наконец она начинает наступление. Она, как сама говорит, собирается „влиять на общество“.

Архитектурный участок фронта новой культуры—в опасности. Мы должны вырвать архитектурную идеологию у ее приспешных буржуазных хранителей. Мы должны разрушить эту обстановку жреческой неприкосновенности и невозможности проникнуть в тайны „души водчества“.

Пролетариат победил, он будет строить и он сам должен быть идеологическим кормчим своей архитектуры (а вовсе не специальные замкнутые о-ва, хотя бы и „построенные на психологическом законе всякого познания“, „пророчествах“ и „интуициях“ всякого рода).

<sup>1)</sup> Л. Троцкий. „Литература и революция“ стр. 184.

## Разворачивайте фронт новой архитектурной идеологии.

Кружки рабворов, низовые литературные кружки, ставьте вопросы советской архитектуры на обсуждение на своих собраниях.

Подготавливайте и собирайте общественное мнение вокруг интересов новой советской архитектуры.

Выводите архитектуру из ее отвлеченных, эстетических буржуазных застенков, где она прозябает сейчас, на ясную дорогу техники, через овладение которой мы придем к общему социалистическому единству будущей культуры.

Москва, август 1924 г.

## О ПРЕПОДАВАНИИ ТЕРМИНОЛОГИИ

Г. Поливанов

I.

Мертвых надо хоронить. Мертвые языки в нашей школе поэтому благоразумно похоронены. Нет ни латыни, ни греческого. Основной кол им еще и потому, что они не давали того немногого, что они все-таки могли бы дать полезного.

Пусть не подумает никто, что я хочу повторять что-либо из того, что выдумали для своей самозащиты учителя-классики на своем съезде в последний из предреволюционных годов, когда им нужно было как-нибудь оправдать свое право на существование. Они, конечно, решили, что от преподавания древних языков зависит все будущее русской культуры; съезд преподавателей чистописания, если бы он был, решил бы, конечно, то же самое по поводу чистописания. Но дело не в этом: ни полезной „гимнастики мышления“, ни знакомства с „образцовыми образцами стиля“ я отыскивать в практике старо-режимной классической гимназии для защиты древних языков не собираюсь (фактически, роль „гимнастики ума“ может сыграть грамматический анализ любого языка, хотя бы кабардинского или алеутского: последний даже очень и очень интересен для лингвиста — поинтереснее греческого); а уж „образцами стиля“, как себе ни хотите, ни Цицерон, ни Цезарь, ни Ксенофонт для наших гимназистов не были: для этого были штампы русских сочинений, — основательнейшее из изобретений инквизиции над литтворчеством, и если с ними хотели спорить в былое время латинские extemporalia, то за это им нужен основной кол сугубый. Ни крупница пользы от „мертвоязычии“ не было. Но крупница пользы могла бы быть (при иной постановке вопроса <sup>1)</sup>) — и вот в чем: в объяснении значительной составной части русского словаря, — именно слов латинского и греческого корня.

Говоря лингвистическим языком, знакомство с латинским и греческим языками могло бы быть полезно при преподавании русских этимологий (под этимологией понимается здесь учение о происхождении (и об исконном, — верном значении — etymon

<sup>1)</sup> Один учитель-классик в моск. гимназии был, однако, не в пример откровеннее съезда: „это правда“, — говорил он, — „что латынь вам совершенно не нужна; но в том-то и состоит дисциплина, что начальство вам предписывает изучать ненужное, а вы без рассуждения повинуетесь“. (Это действительно говорилось, и я ругаюсь почти за буквальную точность этого довода).

logos)) слова (но совсем не то, что в школьных учебниках именуется этимологией — грамматика или морфология): этимологией слова медведь будет, например, объяснение его происхождения из сложения корней медв- (медв-то же, что мед-, сравни медвяный) + ѣд (ѣд-а), что устанавливает, следовательно, за ним исконное значение („верное значение“ — etymon logos) в виде „медо-ед“, „поедателя меда“; другой пример этимологии: объяснение латинского venepum, французского venin „яд“ из корня ven— „любовь, любить“ — того же корня, что фигурирует и в имени богини любви — ВЕН еры: Ven плюс суффиксы —es—по—m, т. е. те суффиксы, что и в наших неб-е-сное, тел-е-сное, слов-е-сное и т. д., означало „люб-овное“ и, в частности, любовное зелье, любовный напиток; venepum „любовный напиток“ — это старая (архаическая) форма латинского слова venepum, в котором со временем значение уже эволюционировало, — обобщилось: вместо зелья (и яда, — яда, очевидно, для соперников) любовного venepum стало обозначать просто яд. Вот вам, следовательно, этимологии слов медведь и venin (из лат. venepum). Понятно потому, что в лингвистике слово этимология употребляется чрезвычайно часто во множественном числе; говорят, например, что такой-то знает много этимологий — это значит, что ему известно происхождение многих слов.

Итак, латынь и греческий нужны для понимания многих этимологий в современном русском словаре — тех слов, которые происходят в русском из латинского и греческого, или же (что часто бывает) созданы — при появлении новых научных понятий — из латинских и греческих корней (хотя латинский и греческий в пору появления данного понятия уже были покойниками и, следовательно, не могли иметь соответствующего слова, возьмем, напр., телефон, телеграф, телескоп, микроскоп, миврометр, термометр и т. п. слова из греческих корней).

В том, что знать эти слова всякому, кто учится<sup>1)</sup>, необходимо, — в этом нет сомнения. Русский словарь, как и словарь всякого другого европейского языка, pepper латинскими, греческими и латине-греческими (т. е. половинчатыми: с одним латинским и одним греческим корнем, как, напр., гомо-сексу-ализм, где гомо — из греческого, а сексу — из латинского) словами.

(Положим, разница в процентном отношении между этими латинскими и греческими, по происхождению, словами и словами родного корня в разных европейских словарях есть: в немецком, например, среди научных терминов латинских и греческих образований меньше, чем в русском; а такие языки, как чешский и финский, старательно заменяли „иностранные“ или интернациональные латинские слова словами национального производства;

<sup>1)</sup> Учитя где бы то ни было: на рабфаке, во II ступени школы, в техникуме, в университете, или сам учится, чтобы достичь понимания газеты и популярной книги которые, несмотря на всю популярность, не могут, да и не должны избегать иностранных слов.

но от такого пуризма больше вреда, чем пользы: для дела интернационализации орудий культуры (в их числе языка и письма) в мировом масштабе — такие явления представляют прямой минус).

И нелепо требовать знания интернациональной научной и технической терминологии из русского обихода; все доводы, которые за это приводятся, — детские доводы. Говорят, простому человеку из народа эта терминология абсолютно непонятна. Да, непонятна. Но что непонятно? Понятие или слово? Оказывается, ни понятие не известно (допустим, понятие радио-телеграфа или просто радия для крестьянина нынешнего взрослого поколения Олонецкой губернии), ни слово не знакомо. А поскольку будет внесено в голову новое понятие (т. е. поскольку данный олонецкий крестьянин узнает, что такое радио-телеграф, и, конечно, в отличие от телеграфа и параллельно уяснит, что такое радий), постольку неизбежно прибавление к данному индивидуальному словарю нового слова. Но, ведь, труд выучить это новое слово уже пустячен по сравнению с созданием понятия. И от того, что слова радио-телеграф и радий — слова не русские, данному олонецкому крестьянину они не будут труднее, чем неизвестные ему русские (по корню) слова с так же неизвестными научным значением. Скажут, научную терминологию легче усваивать, если она составлена из русских, (говоря точнее, из болгарских и русских) корней, как, например, многие наши юридические термины. Откуда был бы вывод (который во многих странах и делается): давайте пуристничать, — переводить научные слова на болгаро-русские морфемы. Так, ведь, был в 1914 году переведен Петербург<sup>1)</sup>. Ну и давайте, дескать, переводить: вместо термометр — тепломер (или теплоизмеритель), вместо галоз — может быть мокроступы и т. д.

Но тут надо сказать, что эта неблагодарная задача прямо невыполнима (переведите, пожалуйста, по-русски радий), невыполнима особенно в тот период, — революционный, когда рамки традиционного русского словаря ломятся от массы новых, обусловленных революцией и новой „красной“ культурой понятий. А в той мере, в какой такое пуристское намерение выполнимо, исполнение его вредно. Вредно, во-первых, с точки зрения общеконечной цели интернационализации культуры и словесной симво-

<sup>1)</sup> Кстати, экскурсе об истории имени Ленинграда: первое его имя было голландское — Питербурх (ведь, Петр — по-немецки Петер, а по-голландски — Питер, чем объясняется и сокращенная форма Питер. Затем последовал первый перевод: с голландского Санкт-Питербурх на немецкий: С.-Петербург; в 1914 году русский шовинизм вызывает второй перевод: с немецкого, но на милый русский, фактически на болгарский (гр ад — болгарская форма к русскому город) — Петроград, от которого, наконец, освобождаясь с немалым чувством удовлетворения по поводу ликвидации противной памяти военного новояза 1914 года, когда Питербурх становится Ленинградом (новое имя города по имени человека, сделавшего новый период русской мировой истории; в этом отношении и может быть осмыслена смена имени Петра именем Ленина в названии этого сугубо-исторического города.

лики, как ее орудия (мы, лингвисты, не перестаем об этом думать, хотя и не спешим с вводом эсперанто, считая, что дело настоящего этапа—это направить коллективное языковое творчество по настоящему руслу, именно руслу интернациональной терминологии, а декретирование интернационального языка—дело следующего этапа,—этапа, когда фактический международный мыслеомен стал бы реальной повседневной потребностью масс,— для чего нужна, конечно, совсем отличная от современного база— в виде новой формы мирового хозяйства). Вредно, во-вторых, потому, что вы напугаете больше, чем вы разъясните (у вас совпадут целые ряды парных значений русских морфемосочетаний: одно—простецкое, традиционное, другое—техническое, обусловленное вашим переводом латинского слова через данное русское морфемосочетание). Вредно, в третьих, потому, что это будет ломка действенной системы словотворчества. А ее, по-моему, нужно не ломать, не заменять пуристскими выдуманными (и уж отнюдь не действительными), коллективно-неживыми фокусами, а нужно ее осмыслить, поймать ее законы, схематизировать, изучить и преподавать ее именно как систему, чтобы научиться организованном способом—посредством школы и посредством издания соответствующего руководства—максимально облегчить понимание и усвоение русского словаря,—такого русского словаря, каким он есть, каким он живет и растет в революционную эпоху. К этому призыву, как ниже будет видно, и сводится содержание настоящей статьи.

Но вот еще одно наивное возражение, с которым приходится сталкиваться: научной терминологии, по существу иностранной (в громадном большинстве латинско-греческой, частично же и немецко-английской), наши массы, дескать, не понимают, а понимает ее только тонкая пленка интеллигенции, потому, дескать, она и непримемима. Но, ведь, и атеистическое, реалистическое марксистское мировоззрение разделяется сейчас ничтожной группой—красно-интеллигентней; а масса по-прежнему верит в богов. Что же? по этому поводу нужно пустать в трубу марксистское мировоззрение?

Как раз наоборот. Да и о каком словаре массы можно говорить, как о вещи, соизмеримой со словарем научной терминологии? Ведь, для тех научных и технических понятий, которые неизбежно обязательны для будущего красной культуры (т.-е. должны будут быть известны трудовым русским массам, которым надлежит приобщение к красной культуре), в словаре олонецкого крестьянина нет и не может быть никаких соответствий. С этой стороны мы имеем дело прямо с нулем; следовательно, отступать от научной терминологии меньшинства в сторону соответствующего нуля у большинства <sup>1)</sup> бессмысленно.

<sup>1)</sup> Это не значит, однако, что словарь трудящихся масс представляет нуль практического интереса во всех отношениях. Мы наоборот должны чер-

Итак, знать научную и техническую терминологию, в основе своей иностранную, именно латинско-греческую, всем, кто учится, нужно. Как же изучать и преподавать ее?

Есть и практикуется, во первых, один кустарный способ механического заучивания значений слова за словом с закрытыми глазами на языковую конструкцию (пособием при этом служит обыкновенно какой-нибудь „Словарь иностранных слов“). Конечно, способом этим идти можно, только что нерационально—похоже на то, чтобы пахать киркой или ловить рыбу кофейником. Более близкое сравнение: учить немецкий язык, зазубривая лексикон от А до Z по порядку.

Нужен, значит, другой—рациональный метод.

Но перед тем, как перейти к нему, оглянемся на фактическое состояние знания „иностранных“ слов, во-первых, в той среде, где организация подходящего преподавания всего важнее—в толще рабфаков и вообще у учащейся молодежи из трудовой среды: а) столично-рабочей, б) провинциальной, но великорусской, преимущественно крестьянской, в) инородческой,—преимущественно примеры молодежи дехканского или кочевого населения Туркестана, во вторых у нашей интеллигенции *pur sang*. (Наблюдений же красноармейской среды в этом отношении, к сожалению, за последние 3 года у меня не было; эту тему—о понимании „ученых“ слов современными кр-цами, можно было бы рекомендовать для специального обследования).

## II.

Учащаяся молодежь интеллигенции дореволюционного периода еще справлялась кое-как со значениями иностранных слов общинтеллигентского лексикона (черпая это знание, однако, не из уроков латинского языка, а другими путями)—поскольку эти „иностранные слова“ вместе с правилами старого правописания служили внешними признаками интеллигента. Революция, пройдя—после Октября 1917 г. и по флангу правописания, сделала ненужным знание правил о „яти“ и других трудностей старой графики; но „иностранные слова“ остались и не могли не остаться

пять из него те технические термины, которые словарю интеллигента неизвестны (по редкости для интеллигента соответствующих технических понятий).

Я полагаю, например, что наша ботаническая номенклатура может обогатиться именно из крестьянского словаря. Дело в том, чтобы брать термины из той среды, где он уже есть готовый (в виду наличия соответствующего понятия), и это применимо к обеим сторонам: и к готовому уже запасу научной (пусть иностранной по корням) терминологии у интеллигенции, и к готовым фактам народной терминологии,—лучше брать именно из нее, чем выдумывать термины заново. Народный словарь, таким образом, важен не только для беллетристов (и не только для филологов и лингвистов с другой стороны).

А о том, что нашего народного словаря не знают наши беллетристы, об этом с ними поговорят и нелегко им будет оправдаться. Я убедился.

(так как декретировать можно лишь явления письменности, но не явления языка), наоборот запас нужных иностранных слов для революционной эпохи увеличился в связи с введением ряда новых понятий, для которых необходимы стали новые термины.

Как же справляется с этой частью современного нашего словаря учащаяся красная молодежь?

Мои наблюдения показывают, что она тут совсем не справляется. Мои опросы рабфактовцев и слушателей технических курсов (русских по языку—из столицы и из Ташкента) показали, что непонятными для большинства являются следующие слова: идея, стихия и стихийно, принципиально, юридически, скомпроментация (sic), классически, рационально, мораль, ультиматум, статистика и с другой стороны—статический, фашизм и ряд других типичнейших слов интеллигентского жаргона, без которых наша речь в общем совершенно не может обойтись. Наряду с полным незнанием слова встречаешь (и обычно чаще) неверное его понимание. Так, на мой вопрос, „что значит принципиально?“ я получил ответ „когда говорят: я с вами принципиально несогласен, это значит, что я до того не согласен, что готов лезть в драку за свое мнение“. Другой пример неправильного понимания и употребления слов: „Наш секретарь—совсем не опытный; а вы—так опыти (осмыслено, как опытный)—вы мотивируйте (т. е. направляйте) его пожалуйста. Особенно же часто встречается ложное понимание слов: нация и религия, — в индивидуальных случаях разумеются под этими словами самые странные и неожиданные вещи.

На ряду с искажением смысла слов интеллигентского языка, встречается и уродование его фразеологии: я помню, как один оратор из рабочих постоянно повторял фразу: если посмотреть с точки зрения (эта фраза служила ему логической паузой—во время ее механического произнесения он обдумывал дальнейшее), но при этом он не говорил, с какой точки зрения (выходило напр.: если посмотреть с точки зрения, то февральская революция вовсе не была рабочей революцией).

Но в общем усвоение синтаксических оборотов интеллигентского жаргона дается легко и не может идти в сравнение—по трудности—с терминологией.

Кроме вышеприведенного мною, на каждом шагу встречающихся слов (принципиально, идея и пр.) надо знакомиться ведь с научной терминологией в узком смысле; а она почти сплошь—иностранная (и—без вреда для науки—не подлежит передаче).

Проезжая в вагоне с студентом—сельскохозяйственным, мы прочли из окна надпись на вагоне „изотермический вагон“ и студент не знал, что она означает.

— А слово термометр вы понимаете?

Путем сопоставления: термометр, барометр, гигрометр, электрометр, и, наконец, метр, мы разложили термометр на части терм—о+метр. Терм—(—о—) означает „теп-

лота“, а метр—измеритель. Перешли к слову изотермический и в нем нашли комплекс терм; это значит, что в его значение входит понятие теплота. Осталось подсказать значение первой части—изо (греческое Iso) „равный, одинаковый“, хотя и эту часть можно было объяснить таким же образом посредством выделения из изотерма (изотермический) и изоглосса (изо „одинаковый“ + „глосса“ язык; изоглоссалингвистический термин) и т. п.

Итак изотермический было объяснено как состоящее из 2-х греческих лексических<sup>1)</sup> морфем: изо (iso) одинаковый+терм—„теплота“, откуда общее значение: (вагон) с одинаковой температурой.

Вот в грубом виде—тот метод анализа иностранных слов, которым нужно идти при их усвоении (отнюдь не заменяя правильного этимологического объяснения искусственными мнемоническими приемами).

### III.

Итак, я полагаю, что систематическое преподавание этимологий иностранной (латинско-греческой по преимуществу) научной терминологии, составляющее одну из необходимых задач современного обучения, и именно в составе преподавания русского (русского—своего национального языка—у меньшинств), должно вестись путем ознакомления:

1) со способами и типами словообразования (в этой очень легкой, части дела должна быть, между прочим, объяснена роль соединительной морфемы -о-, напр., в гинек—о—логия<sup>2)</sup>; затем типичные для ряда образований морфемы, с формантным или близким к формантному употреблению, как-то: —ик а в ботаник—ик—а „то, что об растениях“, физик—а „то, что о природе“, динамик—а „то, что о силах“; лог-ия в физиолог-ия „наука о природе (живых существ)“ метеор—о—логия „наука об атмосферных явлениях“ геолог-ия „наука о земле“; наконец, такие заимствованные иностранные суффиксы, как—адия, —ировать, —изация, —изировать, —ист, —изм, —ат (проникающие и в сочетании с русскими лексическими морфемами—ленин—изм, старост—ат), —ад, —альний, —ализация; наконец, даже—ман в изв—ман).

2) с наиболее частыми лексическими морфемами латинского и греческого происхождения, встречающимися в нашем научно-техническом словаре, при чем эти морфемы (-основы) должны быть выделяемы учащимися из ряда родственных между собой (по данной морфеме) слов: напр., основа (лексическая морфема греческого происхождения) фот—должна выделяться путем сопостав-

<sup>1)</sup> Лексической морфемой называется морфема, обладающая материальным значением (представление предмета, количества, действия)—в отличие от формальных морфем—с грамматическим значением (напр. -ск-ий)

<sup>2)</sup> Основа гинек—из греч. γυναικ „женщина“, -соединительное -о-, -логия.

ления фот-о-граф-ия, фот-о-сфера, фот-о-тип и т. д., привлеченное же в данный ряд второе, третье и т. д. слово отнюдь не должно отбрасываться неразобраным в остальных своих морфемах: так поскольку для объяснения морфемы фот- „свет“ в фот-о-граф-ия „светопись“ привлечено было фот-о-сфера, нужно и его объяснить до конца, т. е. прибавить значение -сфера из греческого *Sphaîra* „шар“, вторая лексическая морфема в фото-граф-ия привлекает за собой ряд типо-граф-ия, поли-граф-ия (и Мосполиграф), граф-оман (граф-о-мания), что отчетливо и незабываемо выделит основу граф-со значением „писать“ (попутно можно указать и чередование граф-грамм- в грамм-офон грамм-ат-ик-а и т. д.); поскольку же взято в оборот слово полиграфия, полезно остановиться на первой его части (-поли-греч. *poly* „много“, напр. в слове полисептети́ческий или в каком-либо другом); так сцепляются между собою по родственным морфемам ряды иностранных слов, и это единственный способ сознательно уложить их в памяти вместе со значением.

Это главное. Возможны в отдельных случаях исторические дополнения к этимологии отдельных слов: например при слове метафизик-а буквально „то, что после физики“ нужно рассказать о случайном происхождении этого термина, благодаря тому, что соответствующие статьи в сочинениях Аристотеля помещены были после („после“ по-гречески — *мета*“). В объяснении слова пара-зит (буквально по-гречески прилебник). Интересно указать на чисто социальное первичное значение этого слова (ср. хотя бы *parasita* у Теренция), откуда затем словоупотребление было перенесено на животных-насекомых, откуда затем обратно идет и наше (характерное для революционной эпохи) метафорическое употребление паразита опять в социологическом значении. Нужно указать, что рекомендуемый мною этимологический разбор нашей латинско-греческой терминологии отнюдь не означает преподавания латинской или греческой грамматики. Из грамматических сведений при нем можно удовольствоваться указанием на несовпадение формы основы, фигурирующей в сложных словах (напр., фот-„свет“ фот-о-граф-ия, фот-о-сфера и т. д.) с именительным падежом в греческом (вср в латинском) языке (именительный падеж не фот,—а *fos phos* „свет“). Указание это полезно и на случай пользования учащимися латинским и греческим словарями. К нашей технической терминологии, помимо слов иностранных, относятся и многочисленные (возникшие в связи с массой новых понятий<sup>1)</sup> в революционную эпоху) слова-сокращения. Три основных типа этих слов: 1) тип—Совнарком, образуемый путем сложения первых слогов от каждого из сокращаемых элементов словосочетания—тип, по объективным усло-

1) А на каждое понятие-бдно слово, а не сочетание слов. Потому языковая экономия императивно обязала нас к живому словотворчеству-творчеству аббревиатур (сокращений).

виям наиболее живучий в русском языке, как и его подтип гендель вместо генераторная цепь, вытесняющий мало-по-малу наши формы прилагательных; 2) тип эс-эр, получающийся из сложения названий начальных букв от каждого из элементов сокращения; 3) тип нэп, образуемый прочтением начальных букв от каждого элемента сокращения—за одно слово<sup>2)</sup>; заслуживают научного объяснения в преподавании языка не менее, чем термины старой формации (латинско-греческие ученые слова), но с ними не предвидится особых затруднений—это будет очень легкая надбавка к курсу этимологии русской научно-технической терминологии. Итак, я говорил о новом предмете в преподавании нашей школы, но о предмете необходимом и тесно связанном со всеми предметами обучения. А поскольку это преподавание этимологий научной терминологии нужно, нужен и обеспечивающий его учебник,-руководство для учителей и для учащихся.

1) Тип мало живучий в русском (в противоположность английскому) языке, благодаря неудобным для сложения и для признаков грамматического рода окончания; попробуйте определить какого рода Ге Пе У (ГПУ) и просклонять это слово.

2) Тип сравнительно редкий в виду того, что не все сокращаемые слова сочетая дадут главную (нэп) в числе начальных букв своих элементов.

# КНИГА

## КНИГА, РЫНОК И ЧИТАТЕЛЬ К. Зелинский

### I. В океане книг.

Все труднее становится ориентировка среди книг. Десятками и сотнями тысяч расходятся они по всевозможным каналам. Фундаментальные библиотеки растут, как вавилонские башни, готовые задавить новичка своим космонавтным гулом.

Рабочая оценка всех выходящих книг становится делом почти непосильным. Происходит интереснейшее явление—рабочее самоопределение книги. В книге на первый план выступают информация и методика.

Я вижу себя в библиотеке среди книжных шкафов. Они тянутся как проспект или Аппиева дорога, по бокам которой—статуи умерших. Но я вижу, что на полках лежат тысячи и тысячи всевозможных инструментов: напильники, копыя, пилы, французские ключи, сложные инструментари.

В наши дни, все отчетливее и все непреложнее проясняется истинное значение книги: книга есть сложный рабочий инструментари.

Каждый день все больше людей приходит к признанию этого факта. И нигде это не обнаружилось с такой ясностью, как у нас в Советской России, где почетное слово, где книга—есть дело, есть непосредственный участник нашего строительства и борьбы.

Французский ключ может отвинчивать гайки разного калибра—книга—это гораздо более универсальный ключ.

Оценить книгу со стороны ее рабочих функций, со стороны прикладной (в широком смысле) выгоды ее потребления—это значит указать место книги на социально-экономической карте наших дней, это значит ее рабочий коэффициент выести за скобки.

Не даром все подходы к книге упираются в это главное: как сделать новую книгу или как расщепить старую книгу, чтобы выделить в ней нужную информацию и дать возможность ее прочесть Ленинским методом.

Могучий книжный оборот, книга, которая потекла в рабочие кварталы и глухие крестьянские избы—заставляет заботиться о пригонке книги к читательской технике, указывает на основной недостаток: неработатность, недифференцированность книги.

Книга зачастую полна „души“, сырая, субъективна. Книга (а таких очень много) часто является только полуфабрикатом. Книга часто построена на кривых осях и вертит маяги в обратную сторону.

Не случайно, что рабочее использование книг стоит в центре всех съездов и совещаний. Не даром эти вопросы стояли на нынешнем

Октябрьском Советании секретарей деревенских ячеек при ЦК РКП (б). Не даром этот вопрос стоял в центре речи Н. К. Крупской на Советном Советании Наркомпросов.

Интересно, что в своей речи Н. К. Крупская отметила значение для деревни прежде всего информации в книге.

Н. К. Крупская указала на чрезвычайно важное значение справочных столов в деревенских избах-читальнях.

И разве не тот же вопрос о рабочей информации, разве не тот же подход к книге стал в центре внимания Всесоюзного Съезда Библиотекарей.

Библиотеки становятся методическими мастерскими и лабораториями. Библиотекарь и читатель связываются в одну организацию.

Эта организация—есть организация подъема пролетарской культуры. И по тем же причинам в наши дни особо вырастает значение рецензий на книги в библиографических отделах.

Неудовлетворительность наших библиографических журналов и отделов очевидна. Слишком много субъективизма и слишком мало самого главного: информации о книге, методических указаний и объективно-марксистской оценки.

Всякая библиография должна выделять рабочий коэффициент книги, учитывать читательскую технику и указывать на форму пользования этой книгой.

Нужно что то придумать. Какая то реформа в ориентации среди всех выходящих книг явно назрела. Это повседневно ощущается в работе всеми.

Это также чувствуется научными работниками, которые всю жизнь иногда посвящают непрерывному поглощению книг. В сборнике „Творчество“ (академик С. Ольденбург, академик А. Ферсман и др.) В. Курбатов пишет:

„Формальная трудность изучения всего, что уже сделано научными и научно-техническими исследователями, привела к тому, что появились специалисты в каждой области и для них стремление к истине, т.е. к общему миропониманию, сделалось невозможным.

Гордись сейчас нашими колоссальными библиотеками, мы забываем что все они—плод специализации, а использование их совсем не так просто, как это видно по судьбе работ Менделеева, которые через 34 года были открыты вновь Де-Фризом, Корренсом и Чермаком“.

Происходит это потому, что техника пользования книгами у нас находится (да не только у нас, но и на Западе) еще в совершенно патриархальном состоянии. Это находится в связи с общей крайней отсталостью организации вообще всякого научного труда.

Если бы книга воспринималась нами не как самодовлеющее „творение“, а мы подходили бы к ней со стороны формы ее потребления и со стороны дифференцированного рабочего использования, то классификация книг и ориентировка в них значительно бы облегчилась.

Мы должны перейти к стандартизации методических оценок книги. Нужно искать в книге не „откровенный“ и „единственный в своем роде“ пифийский вещаний, а перспективы и также организационный костяк, по которому сделана книга—объективно отражающие характер современных производственных и социально-экономических отношений. На втором месте должен стоять учет факторов физиологических.

Но возникает тогда вопрос—как же ориентироваться в художественной литературе, самодовлеющей и воспринимаемой только при посредстве „эстетического вкуса“.

Но этот „коварный“ вопрос немедленно теряет свою остроту, если мы подведем к нему со стороны общей картины потребительских интересов. И здесь возможен учет, и здесь возможна однородная методологическая сценка, и здесь возможно помогать конструировать в своем представлении художественную книгу по двум-трем примерам, по нескольким идеологическим и формально-техническим замечаниям.



Но главной предпосылкой нашей теперешней библиографии и библиографических отделов всех журналов должен явиться общий учет читательских интересов и классификация форм пользования книгой (для чего читать).

Всякая библиография должна ориентироваться именно на этот „фон“.

Эта общая картина составится из учета по двум линиям: учет того, что и кто покупает книги и учет читательских интересов по библиотекам.

Сопоставление и анализ этих моментов даст возможность определить формы потребления книги современным читателем, а так же одновременно выяснит и роль в этом деле читательской техники.

## 2. Картина книжного рынка.

Ограничим свою задачу. Будем говорить только о городском покупателе книги.

Прежде всего приходится констатировать, что учет конъюнктуры книжного рынка и учет именно под углом читательских интересов—дело, к которому соответствующие учреждения едва едва приступают.

Не говоря уже о том, чтобы сделать этот учет рычагом общекультурной работы, но даже просто торговая погода на книжном рынке еще целиком делается в слепую. Если мы имеем в этом отношении исключение для учебников (потому что знаем, сколько у нас школ), то удовлетворение культурных нужд нового читателя проводится без знания потребителя своей книги.

Но именно потому, что в старое время не делалось таких конъюнктурных обзоров, но именно потому, что этот учет имеет для нас значение не только с точки зрения одной коммерческой выгоды—он должен быть поставлен.

Первые шаги в этом направлении были сделаны Бюро Совпартиздательства и Госиздатом (в частности т. Марьясиным). Предполагается также организация для этой цели Издательского Комитета при Наркомвнутрторге.

Я не буду здесь говорить о тех вопросах, которые встанут в порядке организации такого учета, о выяснении положения книги в бюджете рабочего, крестьянина, рабфаковца и т. д.

Какую роль на рынке в старое время и теперь играет литература с наиболее ярко выраженным рабоче-прикладным характером, т. е. учебники?

По данным Госиздата в его торговом обороте учебники теперь занимают 50%; 23% политико-экономическая литература и 27% остается на долю литературы художественной и научной (при чем научная литература раскупается несколько меньше).

В 1912 году учебники по количеству экземпляров составляли 17% общего количества продукции всех издательств; по названиям они составляли 6% (всего 34.680 названий).

Если мы примем в соображение, что продукция советских издательств в 1924 году приближается к продукции довоенного 1912 года, мы на основании производственных планов и торговых оборотов издательств можем сказать, что книга резко передвинулась в сторону рабоче-прикладного ее использования.

Это, конечно, совершенно ясно, ибо пришел новый потребитель книги—широкий массовый читатель, рабочий и крестьянин для которого книга не является предметом праздного смакования, а необходимым культурно-практическим оружием. Естественно это и потому, что новый читатель в массе нуждается прежде всего в повышении своей общей грамотности.

Производственные планы Госиздата и других Советских и Кооперативных издательств построены прежде всего по признаку снабжения современного читателя деловой и ориентировочной литературой.

Интересен еще один момент, что например Госиздат на 100% выпущенных им учебников издает от 50 до 70% методической литературы (всяких руководств для учителей и т. д.).

Какая же литература остается на периферии? Если мы вспомним, что у нас роль частного капитала в книжном деле ничтожна (примерно 6%), в чем же реализуется этот последний?

Эти издательства ориентируются, примерно, по двум путям: 1) с одной стороны, они издают пассивно-васлаженческую, вагонную, художественную и тарзанную литературу, 2) с другой стороны, они издают марксистскую, ориентировочную и всякую иную „идеологическую“ литературу, рассчитанную на интеллигентного потребителя.

Так, частные издательства конкурируют с Госиздатом в области психологической, философской и детской литературы.

Некоторые издательства (как например издательство „Мысль“) издают исключительно „беллетристику“.

Показательно для характеристики теперешнего потребителя книги большое количество хрестоматий и всякой иной энциклопедической и чисто ориентировочной литературы.

Опять-таки это обозначает методическое значение сегодняшней книги.

Особенно это относится к выпускаемой литературе по ленинизму (например сборники „Путь к Ленину“). Ленинский метод дается на различных случаях его приложения. Сочинения Ленина в этих сборниках строятся по предметному указателю.

Как правильно подойти к различным вопросам идеологии и жизни?

На этот вопрос современного читателя издательства отвечают выпуском хрестоматий и предметных руководств. Возьмем для примера сборник „Введение в научение марксизма“, составленное А. Максимовым и Э. Эссеном. Или возьмем например издания Товарищества „Мир“: „Искусство и литература в марксистском освещении“, затем сборники „История философии в марксистском освещении“ (составленные Столпнером и Юшкевичем). В этом направлении можно привести очень много примеров.

Возьмем, наконец, большое количество выходящей рекомендательно-указательной литературы: „Как находить нужную книгу и как с ней работать“—В. Невский, „Организация самообразования“—П. Керженцев, „Простые беседы по самообразованию“—Н. Заровняцкий, наконец, книжки Рубакина, Н. Книжника и др.

Советский книжный рынок—это поучительнейшее поле для серьезной культурной работы, это область, откуда можно извлечь интереснейшее и необходимейшее указание для нашей текущей работы.

Изучение нашего книжного рынка—это неотложная культурная задача.

Следя за торговой динамикой этого рынка, мы будем изучать и современные читательские интересы, которые развернутся перед нами во всей своей классовой пестроте. Мы увидим тогда, какую действительную роль играет книга в формировании нового организационного типа мышления. И прав В. Невский, когда говорит: Капиталистическое общество приучило людей пользоваться книгой или для того, чтобы угодить от жизни в область бездейственных мыслей, (так читают наиболее влиятельные люди, экономо скудные запасом своей трудовой энергии), или же для того, чтобы грабить других в инстинктивном порыве бездейственного накопления (академическое чтение).

Новые общественные отношения все в большей мере должны приучать нас обращаться к книге, главным образом, для того, чтобы высвободить скрытую энергию нашего организма для труда и творчества“.

07 121



### 3. Учет читательских интересов.

Приходится начинать с сожалений, что в отношении учета читательских интересов теперешнего посетителя библиотек и читальных зал еще сделано очень мало. А только через этот учет мы можем улучшить, рационализировать потребление книги, методически осветить читательскую технику.

Библиотечный Отдел Главполитпросвета только приступил к такому учету по своей сети рабочих и крестьянских библиотек. Читальный зал и библиотека имени Ленина в Москве (быв. Румянцевская) после семилетнего перерыва еще только готовит отчет о своей деятельности. Но и этот отчет будет по старым румянцевским образцам, т. е. чисто формальный без углубленной оценки, как и для чего теперь используется книга.

Отдельные библиотеки (например Центральная Рабочая Библиотека МГСПС), правда, производят такую работу и иногда в направлении тех задач, которые здесь были мною сформулированы.

Разберем сначала, как поставил свою работу Библиотечный Отдел Наркомпроса.

Наркомпросовская анкета сначала спрашивает читателя, что он больше всего любит читать; беллетристику, политические книги, научные книги или по прикладным знаниям. Потом этот же вопрос разбивается на две области, беллетристика и научные книги; анкета хочет выяснить уже более точно, о чем именно люди любят больше всего читать. Этот вопрос сделан так:

Беллетристика	Научная литература.
О жизни рабочих.	О социализме и коммунизме.
О жизни крестьян.	О Ленине.
Военные рассказы.	О происхождении мира и человека.
Про революционеров.	О животных и растениях.
Про любовь.	О здоровье и болезнях.
Приключения.	О земельном вопросе.
Путешествия.	О сельском хозяйстве.
	Об электричестве.
	О машинах, о ремеслах.
	О других странах.
	О том, как жили люди в старину.
	О религии (вере).

Затем идет вопрос: какую газету вы читаете? Затем спрашивается название некоторых наиболее понравившихся книг и, наконец, общие замечания.

Ниже я скажу, как отозвался на эту анкету низовой читатель: рабочий и крестьянин. Но уже из простого пересказа содержания анкеты видно, как неверно подошел Библиотечный Отдел Главполитпросвета к своей задаче.

В самом деле, какую общую перспективу имеет эта анкета, которая в сущности состоит только из двух вопросов: первый вопрос выясняет набираемый читателем отд. л. область и, наконец, книгу (т. е. три студеники одного и того же вопроса); второй вопрос — чем нравятся прочитанная газета.

Можно ли узнать из анкеты, для чего читает книгу современный читатель? Можно ли узнать, как пользуется он книгой, как она в ней ориентируется? Наконец, можно ли узнать условия современной читательской техники? Можно ли узнать, какое рабочее использование у читателя нашли прочитанные им книги, как

помогли прочитанные книги формированию его мироощущения или просто сыграли подсобную прикладную роль? Как, наконец, подходит современный читатель к формально-конструктивным качествам книги (как книга сделана и написана?)

Словом, все эти первостепеннейшие вопросы не находят в Главполитпросветской анкете никакого освещения.

Анкета и учет читательских интересов никоим образом не должны носить мертвый статистический характер. Библиотечные анкеты тоже должны помогать читателю разбираться в рабочем использовании книги.

Но чрезвычайно интересно то, что в ответах на эту анкету читателей мы находим, как обнаруживаются эти живые читательские интересы, которые сами пробиваются сквозь неподвижную схему вопросов Главполитпросветской анкеты.

Так, например, некоторые рабочие в своих ответах (например рабочие читатели библиотеки при заводе „Авирабочник“, затем при заводе имени Владимира Ильича и др) мотивируют, почему они читают те или другие книги. Или, например, все рабочие на вопрос — почему им нравится набранная ими газета (обычно „Рабочая Москва“ или „Рабочая Газета“) отвечают: „Изложение краткое и ясное“.

Т. е. дается ответ не по существу, а с формально-технической стороны. Мышление городского рабочего ценит краткость, емкое и ударное изложение мысли. Это есть служебно-организационный и ориентировочный подход к делу.

Интересно, что крестьяне на этот же вопрос отвечают иначе: например, некоторым часто нравятся „обширные разъяснения“. Сознание деревенского жителя, упирающегося в примитивную производственную технику, требует больше времени для усвоения новых идей. Динамичность и гибкость крестьянской ориентировки прямо пропорциональна „динамичности“ его сознания.

Или, например, некоторые читатели указывают на технические неудобства пользования книгой-инструментом (плохая печать, неудобства читального зала, домашней обстановки и т. д.).

Если теперь по существу разобрать читательские интересы современного потребителя книги и графически изобразить их в виде кривой, то мы увидим, что, примерно, 80% читаемых книг относятся к книгам социально-экономическим и учебным (в широком смысле), т. е. миро-возвратительным.

Замечательно, что, например, по данным Центральной Рабочей Библиотеки МГСПС, читатель которой вообще является типичным современным читателем, теперь нет интереса к старой беллетристике. Не читают даже Толстого, Достоевского и Гоголя (если эти книги читают, то только с учебными целями), читают только новейшую беллетристику и, главным образом, революционную.

Что это говорит. Это говорит о том, что современный читатель читает в могучем котле наших дней, что он даже обходными путями, на кровавых дорогах искусства ищет знаков и следов для своей правильной жизненной ориентации.

И, если по некоторым рабочим библиотекам, на первом месте стоит иногда беллетристика (75%); политическая литература 60%; научно-популярные книги 58%; прикладные знания — 32% и т. д.), то это обычно говорит о пониженной организационной форме пользования книгой (стремление отдохнуть и развлечься), но отнюдь не меняет дела по существу.

Вот почему логичный наводящий вопрос в этом деле может быть с толку и исказить действительную картину интересов. Так, например, тот же Библиотечный Отдел Главполитпросвета в другой своей анкете через библиотекарей спрашивает читателя о том, прочли ли они следующие книги: „Робинзон Крузо“, „Жизнь дяди Тома“, „Мать“ (Горького),

„Джимми Хиггинс“ (Синклера), „Железная пята“ (Джека Лондона), „Васки Демьяна Ветного“, „Неделя“ (Либединского).

На основании каких данных составил Библиотечный Отдел этот список? Что обозначает, если человек прочел все эти книги?

Все это крайне произвольно и абсолютно бессодержательно, ибо не позволяет надувать действительность, предлагая заранее готовый список.

Еще нелепее, когда эту анкету посылают... в деревню, где зачастую библиотеки еще полны книжного добра из окрестных помещичьих имений. Где уж крестьянину до Синклера или, еще того лучше, „Недели“ Либединского.

Одновременно в отношении учета читательской техники крестьянина правильной мысль выдвинула Н. К. Крупская: поменьше названий — побольше тираж.

Поменьше книжной пестроты в крестьянской литературе. Нужно облегчить крестьянину ориентацию в книге, облегчить организационное овладение предметом. Круг необходимых предметов (о Ленине, о сельском хозяйстве, о советских законах и т. д.) должен быть выделен в ударную группу и помещен на миллионный издательский тираж.

Я хочу обратить здесь внимание на работу Центральной Рабочей Библиотеки МГОПС. Не говоря уже о том, что эта библиотека составлена из новых книг, что ее читателем является, главным образом, рабфаковец, рабочий и трудящийся интеллигент, но в работе этой библиотеки интересна ее методика.

Жизнь ставит вопросы — библиотека помогает на них отвечать.

Смычка руководящего кадра библиотеки с читателем здесь проведена самым широким образом. Первое — это ответы библиотеки на запросы читателей, которые даются в виде стенной газеты; второе — это рекомендательные плакаты, дающие ориентацию по отдельным предметам или группе предметов.

Здесь я хочу отметить, что большинство вопросов относятся к выработке миросозерцания. Так и спрашивают: „Помогите мне выработать свое миросозерцание“.

Нужна обще-ориентировочная перспектива. Нужна рама, куда можно было бы вставлять встречающиеся неизвестные факты.

И все равно, как закон достаточного основания в логике обще-конструктивно связывает два суждения, так такую же жизненно-организующую роль играет и „миросозерцание“.

Для этой работы под рукой ищут книгу, как столяр ищет под рукой рубанок, чтобы сточить мешающий сук.

#### 4. Формы пользования книгой.

Еще когда-то Кант говорил, что он разделяет читаемые им книги на четыре рода: книги, обогащающие знания; книги доставляющие удовольствие; книги, служащие нравственно — житейским руководителем и книги прикладного характера.

Это догматическое расчленение нужно развернуть шире.

Есть не четыре вида, есть десятки видов пользования книгами. Эти же виды суть организационные ступени потребления и усвоения книг. На одном полюсе мы будем иметь косное, пассивно-наслажденческое пользование книгой, на другом — рабоче-прикладное.

Посредние целая шкала рабочего использования книги. Книга может литься, как песок, забивая голову, может пойти в чувственную область, произведя подготовительную работу варьирования и возбуждения эмоционально-умственной сферы, книга может выпрямить и уточнить профессиональные навыки, книга может вложить оружие в руки, книга может быть отмычкой, но, главным образом, книга всегда разрядитель скрытой организационной энергии.

И вот мы наблюдаем в наши дни замечательное явление: революция круто повернула стрелку в сторону повышенных организационных видов потребления книги.

Германские вкусовые формы пользования книгой — отмирают. Безвозвратно миновала пора, когда до головной боли обсыпали Арцыбашева и Куприна, валяясь на канале и болтая шелковой ножкой. Все меньше читают книги и как валериановые капли перед сном.

„Вагонная“ форма потребления книги уступает в Советской России ориентировочной и прикладной форме.

Это очень ясно показывают все анкеты и обследования. Но это отнюдь не обозначает упрощательского подхода к книге. Напротив, можно отметить явный рост формально-технических требований к книге. Продукт городской культуры, конструктивной, ударной и емкой ценится теперь выше, как экономичней силы и в умственно-рабочем отношении более выгодный.

Так, например, я не без удовлетворения прочитал в одной анкете крестьянина — читателя из Варабановской волости, Бузулукского уезда, Самарской губернии, что на него произвели очень яркое воздействие анти-религиозные стихи Маяковского.

К каким же выводам обязывает нас обнаружение этого факта продвижки читательского подхода к книге, к организационно-динамическим формам ее потребления.

На основе анализа фактов этого рода мы во многом можем строить и свою культурно-просветительную политику, и книжное производство, и работу библиотек, и нашу библиографию.

Как массовый оборот товара и условия его потребления влияют на качество самого товара, уточняют в нем его служебную роль со стороны его практического использования, так и изменение формы пользования книгой в организационную сторону, выдвигает в книге на первый план части или стороны, подлежащие прежде всего рабочему использованию.

Такими главными жизненно-центрными моментами в книге являются идеология и формально-техническая сторона книги (например, простой словарь), поскольку через последнюю читатель добравается до главного звена.

Правильная идеология в книге — пуговина, связывающая книгу с самой жизнью.

Если ориентировочная идеология является, говоря словами Ленина, „тем главным звеном цепи, за которое следует ухватиться“, то естественно все, уводящее в сторону, все мешающее прямолинейное восприятие (значит и самодовлающее искусство) отстегивается в сторону.

Вот почему я бы сказал, что первым литературным жанром нашей эпохи является информация. Сейчас проза выше и нужнее поэзии. Сейчас нужна прозаическая поэзия. Сейчас хроника интереснее и нужнее художественной прозы. Сейчас Джон Рид интереснее и нужнее десяти Пальяковок.

Если мы подойдем даже к художественной литературе со стороны новой формы потребления книги, то и здесь мы получаем новый ключ к оценке и современных литературных течений, и даже современной писательской техники.

Вот почему не только работа культурных учреждений, как, например, библиотеки, должна строиться на всестороннем учете оборота книги и читательской массы, условий и характера этого оборота, так и наша библиография, критика, наши оценки книг должны быть коренным образом преобразованы в вышеуказанном смысле.

Чтобы книга не задавила нас, она должна быть организационно-проработана.

Книгохранилища из музеев превращаются в мастерские.

Топки книг — организуются в колонны.

Книга становится инструментом.

## О ПИЛЬНЯКЕ В. ШКЛОВСКИЙ

Л. Д. Троцкий говорит о Пильняке следующее:

„Пильняк бессюжетен именно из боязни эпизодичности. Собственно у него есть наметка даже двух, трех и более сюжетов, которые вкрявь и вкось продергиваются сквозь ткань повествования; но только наметка, и притом без того центрального, осевого значения, которое вообще принадлежит сюжету. Пильняк хочет показать нынешнюю жизнь в ее связи и движении, захватывает и так, и этак, делая в разных местах поперечные и продольные разрезы, потому что она везде не та, что была. Сюжеты, вернее сюжетные возможности, которые у него пересекаются, суть только наудачу взятые образцы жизни, ныне заметим, несравненно более сюжетной, чем когда-либо. Но осью служат Пильняку не эти эпизодические, иногда анекдотические сюжеты... А что же? Здесь камень преткновения. Невидимой осью (земная ось тоже невидима) должна бы служить сама революция, вокруг которой и вертится в конце развороченный и хаотически перестраивающийся быт“ (Л. Троцкий „Литература и Революция“ стр. 57).

Я согласен о описательной частью этого отрывка, но должен прежде всего установить терминологию. К сожалению, Л. Д. Троцкий этого не делает и употребляет слово сюжет, не сговорившись о его значении.

У Пильняка, отдельная линия произведения, сама по себе, часто и не образует сюжета, т. е. она не разрешена.

Сюжет не нужно смешивать с фабулой, т. е. с „содержанием“, с тем, что рассказывается в вещи.

Сюжет характерен прежде всего, как особого рода композиционная форма, работающая со смысловым материалом.

Очень часто этим материалом бывают бытовые положения.

Я не настаиваю на своей терминологии, но считаю удобным работать с ней, а не с бесформенными „обычными“, никак не проверенными привычными словами.

В литературном произведении обычно используются не самые бытовые величины, а их противоречия. Например, в греческой драме столкновение идей патриархата и матриархата и т. д. Наша жизнь сейчас не сюжетна, фабульна, это не игра словами.

Называть какую бы то ни было жизнь сюжетной, значит, не сознавая того, воспринимать ее эстетически и проецировать в нее наши эстетические навыки.

Не нужно указывать писателям вокруг чего, вокруг какой невидимой оси должно вращаться их творчество. Менее всего годны для указания на них предметы невидимые.

У Пильняка его разбросанная конструкция не объясняется желанием исчерпать всю революцию, это не верно, так как эти куски не современны.

Причина особенности конструкции Пильняка,—глубокие изменения, сейчас происходящие в русском сюжете.

И сюжет у него заменен, путем связи частей, через повторения одних и тех же кусков, становящихся протекающими образами.

Эти связи очень приблизительны и скорее сигнализируют единство вещи, чем ее дают.

— „Ну, так вот. Вопрос один,—по-достоевски,—вопросик: тот дежурный с „Разъезда Марей“ не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордынным,—и иначе: Глеб Ордынин и Андрей Волкович не были ли тем человеком, что последним румянцем захотки.—Этими нашими Иванушками-дуратками, Иванами—царевичами.“

Темей, этот третий, отрывок триптиха“.

Это „отрывок из „Голого Года“ Бориса Пильняка. („Голой Год“ изд. Круг 1923 г., стр. 169).

В тексте указаний на какие-нибудь особенности дежурного или „человека в вагоне“ не даны. Их действительно можно переставить. Они могут носить любое имя из книги. Сам отрывок (описание поезда мещаников) связан в роман тем, что „Разъезд Марей“ несколько раз мельком до этой главы упоминался в тексте (стр. 142).

Основная особенность построения В. Пильняка—их сборность, в них мы можем как-будто проследить процесс образования романа.

В приведенном в начале отрывке, он предлагает нам ввязать отрывок в роман путем „единства героя“, но не настаивает на этом единстве.

В „Голой Год“ вошли большими кусками повелли из первой книги Пильняка „Былье“.

Я в этом Пильняка не обвиняю, а просто указываю на факт.

Вошли они „в роман“ не расшитыми на эпизоды, а сохраняя внутреннюю свою организацию.

Роман Пильняка,—сочинительство нескольких новелл. Можно разобрать два романа и считать из них третий.

Пильняк иногда так и делает. Для Пильняка основной интерес построения вещи состоит в фактической значимости отдельных кусков и в способе их склеивания.

Поэтому Пильняк так любит нагромождать материал: сообщить историю римского публичного дома, делать цитаты из масонских книг, из современных писателей, вставлять в книгу современные анекдоты и т. д.

Факт для отдельного отрывка Пильняку нужен „газетный“,—значимый, если он дает, просто отдельный сюжетный момент, что приводит его как цитату, используя литературную традицию.

„Дом Ордынина“ в „Голом Года“ дан в традиции умирающего купеческо-дворянского дома—традиционер—младший сын, художник, читается все это как много раз читанное. Вспоминается все—до Рукавишниковки включительно. В поздней вещи „Третья Столица“ одна из героинь Лиза Калитина, „девушка, как березовая горечь в июне в рассвете“, самым своим именем дает нам Тургеневскую традицию.

Традиционность „Дома Ордынина“ у Пильняка вероятно вышла невольно, просто потому, что он не оригинальный мастер, традиционность Лизы Калитиной уже явно осознана, автор заменяет обрисовку героя сымкой на прежде созданные вещи.

Англичанин путешественник „Третьей Столицы“ восходит к капитану Гаттерасу Жюль-Верна.

Наиболее сильный из кусков Пильняка: кусочки—быта 1918—1920 г., в этих записях невооруженного времени, интересного уже самого по себе, материал вырывает писателя.

Иногда Пильняк оживляет свой материал прямым введением в него анекдотов, даваемых прямо под номерами 1). 2). 3). 5). 6). Анекдоты эти ходовые, общие, в последних вещах Пильняка, он вставляет их один за другим; не прича, а обнявая прием.

Можно сказать даже, что Пильняк канонизировал случайную манеру своей первой вещи „Голого Года“, создавая вещи из явно рассыпающихся кусков. Для связи частей Пильняк широко пользуется параллелизмом, параллели эти держатся на очень примитивной идеологии, на утверждении, что Россия—Азия, а революция—бунт.

Внося расширяющие во все стороны куски под один композиционный обруч, Пильняк должен делать натяжки и часто срывается с бытовой мотивировки. В „Голом Года“ есть линия мужицкого бунта и описание деревни, есть и линия о большевиках.

— „Эти вот, в кожаных куртках, каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепко, и мудры колючим под фуражкой на затылок, у каждого обтянуты скулы, складки у губ, движения каждого утробны. Из русской рыхлой, корявой народности—отбор“.

07 127

Среди них один из „героев“ Пильняка Архип Архипов. Здесь мне придется сослаться на Льва Давидовича Троцкого, чрезвычайно точно указавшего на характер одного пильняковского приема.

Архипов „бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена)“, перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговарывая так: конвантирован, энегрично, лифегонограмме, функипрован, бутдет, — русское слово: могут—выговаривал: могут. В кожаной куртке, с бородой как у Пугачева. Эта борода Пильняку понадобилась для того, чтобы связать Архипова с деревней, с Пугачевым. Но Троцкий, отмечая смысловую значимость этой бороды, тут же пишет: „мы Архиповых знаем, они бреются“.

Действительно „Архиповы“ бреются.

Не помогает даже, что Пильняк вводит (обычный прием) эту бороду сперва вскользь („и борода чуть-чуть всклокочена“). Обычно появляющийся после таких боковых упоминаний предмет, кажется закономерным, но здесь борода к Архипову не приклеивается.

Синтеза не получается.

Синтеза у Пильняка не получается вообще, прием его чисто внешний, он „невнятица“, и, несмотря на внешнее использование в вещах многих форм современной русской прозы, вещи по существу остаются элементарными.

За композиционным сумбуром автор намекает на какое-то смысловое его разрешение.

Между тем, разрешения этого нет (и быть не может), художественной же формы не получается.

Модернизм формы Пильняка чисто внешний, очень удобный для копирования, сам же он писатель не густой, не насыщенный.

Элементарность основного приема делает Пильняка легко копируемым, чем вероятно объясняется его заразительность для молодых писателей.

Пильняковский способ писания спекулирует на невозможность для читателя разделить конструкцию. Между тем, эта конструкция элементарна и если ее показать, то вся вещь начнет спадать как прорванная.

Сливание отдельных кадров (снимков), видимых на экране кинематографа по современным работам, является фактом не физиологическим, а психологическим. Мы употребляем некоторое усилие, чтобы сливать отдельные картины, наше сознание представляет смену объектов, как постепенное изменение одного и того же объекта.

Прерывистый ряд оно обращает в непрерывный. Если все увеличивать интервалы между отдельными кадрами и делать их все более отличными друг от друга, то мы все же будем видеть непрерывный движущийся объект, но начнем чувствовать дурноту и головокружение.

Дело может кончиться обмороком.

Пильняк использует явление, близкое к этому.

Андрей Белый как-то сказал мне, что на него вещи Пильняка производят впечатление картины, на которую не знаешь, с какого расстояния смотреть.

Здесь правильно указано на состояние напряжения, которое возникает в результате чтения Пильняка. Ощущение это проходит, когда узнаешь основу построения.

Но нужно указать на заслугу Пильняка. Она состоит в том, что он осознал и использовал несвязанность своего письма. Читая один отрывок, мы воспринимаем его все время на фоне другого. Нам дана ориентация на связь, мы пытаемся осмыслить эту связь, и это изменяет восприятие отрывка.

К сожалению, сами же идеи, которыми Пильняк связывает куски конструкции, слишком механичны, слишком ярко оказываются оговорками, словесным сведением концов.

Для увеличения напряженности чтения Пильняк пользуется различными типами „невнятицы“.

Так, например, употребляя традиционные переходы от одной линии повествования к другой, он часто, не упоминает в какую линию ты попал, не оглаживает ее.

Любопытно проследить, как изменяется восприятие вещей Пильняка, благодаря введению в них несводимого параллелизма.

Есть у Пильняка вещь „Его Величество Кнеб Питер Командор“ — это про Петра Первого.

Вещь традиционная и очень плохая. Ю. Тынянов совершенно правильно сопоставил ее с вещами Д. С. Мережковского. И у Пильняка, как у покойного романиста (ныне Мережковский романов не пишет), тоже перемесь: Петр и раскольники, при чем бегают обе части параллели с надписями и говорят декларациями. Конечно, введен другой эмоциональный тон, который сделан, главным образом, путем употребления слов, прежде запрещенных „блядужка, блвлет“ и договариванием сексуальных моментов до конца. Иногда в этих подробностях Пильняк забавно провирается, он пишет... „по дряблым губам (Петра) побежала улыбка, глаза с отвислыми веками стали буйными, подбежал к Румянцевой, схватил, поднял на руки, и, на бегу закидывая ей юбки и раздирая на ногах белье...“

Должно-быть это очень страшно, но нижнего белья на ногах дамы при Петре, да еще в России, не носили, да еще лет сто после, рвать белье на ногах Петру не нужно было, а нужно было это написать писателю Пильняку, нужно потому, что введение в вещь образов, прежде бывших под запретом, первое время производит резкое впечатление. До Пильняка вдалсталь этим воспользовались имажинисты.

Несмотря на то, что в Пильняковской повести, как на картинке для изучения новых языков, все происходит (и сеют, и косят) в один момент, и весь петровский материал использован в 20 минут, повесть ниже посредственности.

Пильняк пишет еще одну повесть „Санкт-Петербург“.

В ней он ведет сразу пять линий: Петр и основание города, красноармеец, китаец, беглый белогвардеец и следователь чеки и инженер-националист.

Точнее определить так: 1) Россия 18 века, 2) Китай 20 века и 3) Россия 20 века, при чем в последнем разряде три линии.

Связь этих линий далее, как обычно у Пильняка, путем: 1) сперва повторения одной и той же фразы из одной линии в другую, 2) сведением сюжетных линий в конце.

Повторяется фраза „столетия ложатся степенно колодами (карт). У инженера оказываются на квартире китайские ходы, повторяется фраза „Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою“. Фразы из одной части повести переносятся в другую уже как изречение в кавычках. Например, так переносятся фразы: мальчик за все свое детство — не видел ни одного дерева, ибо он жия за стеной, уже в Монголии, стране Тамерланов“.

Фраза эта: „тема“ китайцев, попадая в описание Санкт-Петербург (в кавычках), означает сведение двух линий.

Китаец попал в Ленинград и обрабатывал в нем землю.

„А если бы в тот вечер, — циркулем не треть земного шара, шагнула на восток, через Туркестан, Алатау, Гоби, — то там, в Китае в Пекине (Иван Иванович был братом) — Пекине, в Китае...“

Белогвардеец, дворянин, офицер императорской армии, эмигрант, Петр, Иванович Иванов... и т. д. (стр. 102).

„Циркулем“ и одновременностью действия, а также самым фактом перемещения, китаец связан с русским белогвардейцем, связь которого со следователем Иван Ивановичем Ивановым подчеркнута фразой в скобках (Иван Иванович был братом).

Сама же вещь состоит из Петра первого, по-Мережковскому (точно такого, как в первой разбираемой повести), из следователя, взятого из Петербурга Андрея Белого, следователь „бонтоя пространства“ (как Абле-

угов, к нему приходит „Каме́нный го́сть“), т. е. конечно смертный по воле Андрея Белого с коня Медный Всадник (смотри Петербург) и из Пильняком написанных кусков, о китайце, красноармейце и русском в Китае.

Все это раскладывается степенно как карты, долго не сводится одно с другими и все это вместе и есть Пильняк.

Санкт-Петербург—сравнительно сложный пасьянс, разберем другие две вещи Пильняка: „Голый Год“ и „Третью Столицу“.

„Голый Год“ распадается на несколько кусков, связанных между собой повторениями фраз, общим проходящим „припевом“ мотива (из Андрея Белого) и участием героев одного отрывка в другом.

Последним меньше всего.

Вступление начинается с описания судьбы Доната Ратчина, но эта линия обрывается.

„Город Ордынина и Таежские заводы—рядом и на тысячу верст отовсюду—Донат Ратчин убит белыми: о нем все (стр. 27).“

Поэтому роль обрамляющей новеллы играет не его судьба, а повторение одного описания—описания Китай Города.

Описание введено сперва в судьбу Доната, как отрывок из его бродяжества (стр. 25).

Не привожу его целиком, так как оно длинно (25—26 стр.).

Китай город—дан как „Китаец“ с глазами как „Солдатские пуговицы“, „китаец“ положение не завидное.

Описание это целиком повторено на стр. 173—176. Китай и выполз из Ильинки, смолод Ильинку—он как-будто наступление Азия на Россию.

На самом деле строй вещи еще схематичнее и отдельные части ее еще менее связаны между собой. Кроме сопоставления Ильинка—Китай и Китай—завод, есть противопоставление: деревня—Европа—город.

При чем деревня не Китая, а деревня—просто деревня из „Вилья“.

Это не новая часть строения вещи, а еще один включенный в нее кусок, от усилия ввязать ее крепче у читателя только заболели виски.

Описание старого города Ордынина дано обычной старой манерой, со включением „характерных слов“ маленьким словарчиком (стр. 16).

Для связи отдельных мест описания применяется все тот же прием повторения. Стр. 11 (первая страница повести).

На кремлевских городских воротах надписано было (теперь уничтожено):

Спаси, господи,  
Град сей и люди твои  
И благослови возврати мя.

На стр. 23.

На Кремлевских Ордынинских воротах уже переписано... Идет тоже „Спаси, господи и т. д.“

На странице 13. „Ночью же ходить по городу дозволяли неохотно, и если спросонья будочник спрашивал, кто идет—надо было всегда отвечать-обыватель,—тоже на стр. 17“.

Кроме того, в самое описание включены кусочки: „летописи“ „анекдоты“ и „курьезная вывеска“. Вывеска становится потом одним из способов связи частей.

Таким образом, мы имеем в этом маленьком отрывке Пильняка тот же прием, которым написано все произведение: оно состоит из кусочков, смонтированных из них.

Разница композиции куска в отличие от композиции всей вещи та, что в этом куске связи частей даны логические и не использовано ощущение несводимости рядов. Описание заканчивается как бы двумя заключениями, описанием песни мятежа; это знаменитое:

„Гвиуу, гауу, гвиууууууу, гауу Глав-бум“ и т. д. и уже упоминаемый мною отрывок „Китай город“, „Вьюга“ также повторяется потом в вещи (стр. 176) сейчас же после повторения куска о „Китай городе“.

Вступлению соответствует заключение. Оно тоже, как и вступление, не поместилось в вещь, в ней другие темы, это другой рассказ.

Все это играет для русской поэтики роль—ложного конца.

„Заключение“ посвящено (оно называется „Триптих последний“ (материал в сущности) деревня даваемая описательно, как „материал“.

Реальная связь этого куска с вещью состоит в том, что он дает ей перелом, чем и разрешает всю конструкцию. Для Пильняка параллель эта должна выразить какую-то идеологию, сама мотивируется идеологией.

Чтобы связать заключение с основной вещью, он механически вводит в заключение, которое само по себе представляет чистую безымянную этнографию, имена действующих лиц из основного цикла кусков. Например, действует здесь колдун Вгорка, действует он, конечно, но Пильняковский не очень сложно.

„Вгорка у ног Арина склонился, сапоги подтянул, юбки поднял, и не ошавила в бесстыдстве юбок своих Арина“ (стр. 186).

Действие элементарное вроде поступка Петра Первого. Наговоры, данные „в заключении“, даны как наговоры, сказанные со слов Вгорки.

И любовная пара в заключение не просто пара, а Алексей Семенов—Князьков Кононов и Ульяна Кононова, родственники старосты из отрывка „Первое умирание“—моются бабы и девки в бане (стр. 189). „В банях не было труб, и в дыму, в паре, в красных печных отсветах в тесноте толкались белые человеческие тела мужские и женские, мылись одним и тем же щелоком, синьи тер всем большак... и т. д. Это не только у меня, но и у Пильняка читата, Пильняк цитирует себя самого на стр. 180 и этим связывает заключение с частью 3-ей триптиха с описанием поезда мешочников.

Кроме того, „поезд“ связан с главой об доме Ордынинных „вопроском“, не был ли дежурный с „Разъезда Марей“ Андреем Волковичем или Глебом Ордынинным. С главой об коммуне анархистов он связан многократным упоминанием в ней имени „Разъезда“ из линии Архипова (большевики) даже сперва неопытным упоминанием: связывающий образ „Китай“ кончается.

„Там, за тысячу верст, в Москве огромный жернов революция смолод Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз...“

— Куда...

— Долопа до Таежева...

— Врешь. Врешь. Врешь. Загорит еще домна, покатыт болванки, запляшут еще фрезера.

— Врешь. Врешь. Врешь.—И это не исторически, а быть-может разве с холодной злобой, со стиснутыми скулами—это Архан Архипов.

Линия Архипова протянута через весь роман, она дана в виде эпизода, Архипов—его отец (самоубийство отца), слабо связана с линией Ордынинных (знакомство и женитьба Архипа на Наталье), связана с крестьянской линией, путем упоминания о „Пугачевской бороде“ (смотри замечание Троицкого).

Кончается линия Архипова путем полного повторения, мы опять видим: „Китай“ Архипова (уже объясненного) завод и мятеж.

Здесь же дано сюжетное, для Пильняка только по традиции обязательное окончание, женитьба Архипова и Натальи. Пильняк пытается здесь (довольно удачно) оживить понятие счастья—у юта которое от этого должно получиться.

Архипов все время изучает словарь иностранных слов, Наталья же решила иметь мужчину только для ребенка, без юта.

Но когда они сходятся, то Наталья говорит „не любить и любить,—Ах будет уют и будут дети, и—груд, труд... Милна, единственный мой. Не будет лжи и боли“.

Архипов вошел, молча, прошел к себе в комнату,—в словарики иностранных слов, вошедших в русский язык,—слово уют не было помещено.

— Милый единственный мой (180). Последняя строка механически снова повторяет уже разрешенный мотив.

В качестве „мистического момента“ к этим линиям даны еще две линии, линия Семена Матвеева Зилотова, который читался маслических книг и видит во всем пантограмму. Глава в которой вводятся Зилотов, называется „Здесь продаются помидоры“. Зилотов живет перед такой вывеской, вот как он показывает пантограмму.

Семен Матвеев Зилотов взял со стола пятиугольный картон, где в центре, в кружке написано было слово—Москва, а в углах—Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим. Молча подошел к Сергею Сергеевичу, Семен Матвеев сложил углы пятиугольника: Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим сошлись вместе. Снова разогнув углы, Семен Матвеев по-новому сложил пятиугольник—Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим склонились к Москве, и картон стал походить на помидору: окрашенная снизу красным „Памидора“ связывает эту пантограмму с бытом, а сама пантограмма должна давать всей композиции широкий мировой план.

Может-быть, в этом сказало (не в строе фразы) влияние Андрея Белого на Пильняка.

Зилотов же ни ценирует в романе „мистическое“ обладание Оленьки Кунц Лайтисом, на престоле церкви.

Это самое натянутое и неупутное место романа. При описании Зилотова применена временная перестановка: его романа. Жизнь рассказана при его вторичном появлении (135—137). Зилотов сам по себе только мотивирова появления в книге отрывков из маслических книг, они могли бы быть мотивированы, и как найденные, как произнесенные на лекции, наклеенные на стене над обоями и так далее. Цель их—увеличение многозначности вещи и ощущения несводимости рядов.

С романом Зилотов связан самым примитивным образом—он живет в одном доме с Волковичем и присутствует при его неудачном аресте, он же поджигает монастырь. Я подчеркиваю все время связи в романе, и поэтому, может-быть, у кого-нибудь явится впечатление, что роман связан.

Так это не верно.

У сыщиков, говорят, было выражение: пришить такого-то к делу, так вот герои Пильняка вовсе не герои, а мистологи, даже скорее представителями определенных кусков, они пришиты к роману за малпласно.

Потом они или их отдельные части тех кусков, которые они представляют, повторяются в других частях вещи.

Пришиты они в нескольких частях, так как композиции из них не получается.

Представителем другой комментирующей линии романа является „седой попик“.

Связь его с романом следующая, он, видите ли, родственник Глеба Ордынина и живет в монастыре, где совершается мистический блуд Ольги Кунц.

Попик этот говорит длинно, сразу страниц на пять. Пильняк старательно, в старой-старой и плохой манере русского рассказа перебивает речь попика, напоминая, что это все же речь в романе, а не передовица.

Попик перебивается монашеском, который все время поет „Во субботу день ненастный“. Перебиваний полагается—одно за страницу. То же делает в плохих вещах Горький; у него перебивается обычно рассказ тем, что вдруг сообщается о том, что за окном идет дождь. Попик с Глебом Ордыниным разделили между собой комментарии и разговаривают.

Занимается, кроме того, попик и плагиатом на Пильняка, так прямо и говорит сперва... „Знаем какие слова пошли: Гвиу, Гуууз, Гау, наче-вак, колков—кавождение“. (стр. 72), а потом и совсем явно.

„Слышишь, как революция воет—как ведьма в метель. Слушай: Гвиуу, гвиуу, мою, моюа... гау. И летит барабанит—гла-вбум, гла-вбум, и т. д. (стр. 73).

Последнее от Пильняка огнивает попик. Зато он и ставит все на место и все объясняет вместе с Глебом.

— Владыко,—и голос Глеба дрожит болью, и руки Глеба протянуты.—Ведь, в вашей речи заменить несколько слов словами—класс, буржуазия, социальное неравенство—и получится большевизм (стр. 75).

Думаю, что не получится.

Речи же попика я не привожу, читайте их сами у Пильняка „Голый Год“ стр. 70—75 и 128—130.

На 134 странице попик сказал.

Герои „Голого Года“ не долговечны. Донат умер до начала романа, Глеб застрелился. Попик сгорел. Агапина умерла от тифа, авархист Павленко, Свирид, Герра, Степенко, Наталья убиты. Зилотов сгорел, остальные или уехали (Лидия), или арестованы.

Это потому, что их куски кончились, и Пильняку с ними ничего делать.

Остался один Архип с Натальей для семейного счастья.

Пильняк человек не разнообразный, при чем повторяет он из вещи в вещь не только себя, но и свои цитаты, например, Орешинские стихи про голытьбу.

Роман „Голый Год“, „Третья Столица“ повторяют друг-друга связанные метелью. В промежутке между ними, написана „Метель“—вещь под таким названием—и метель, старая Блоковская и Беловская метель, которой Вячеслав Иванов при ее появлении обещал долгую жизнь, выдержку.

Сделана „Метель“ так: взяты два рассказа: о дьяконе, который молился в бане, воспитывая kota в вегетарианстве, и стремился понять „что в первый раз в мире дола“ и „кого дола“.

Вопросы, конечно, поучительные.

„Так—вот“.

Сколько тысяч лет назад, и как это было, когда впервые дошли корову, и корову ли дола или кобылу, и мужина или женщина, и день был или утро, и зима или лето,—дьякону надо знать, как это было, когда дола, первый раз в мире, скотину“.

Сами по себе эти вопросы, конечно, не могли бы наполнить прозаическое.

Тогда Пильняк проводит вторую, ничем не связанную с первой линию произведений, рассказывая про удачливого провинциального Дон-Жуана—ветеринарного врача Драба.

Две линии идут. Молится дьякон—внук Кифы Маккиевича, и идет сплетническое дело в суде чести о Дриго. Суд чести хорошее дело, он позволяет Пильняку дробить рассказ на показания и документы. Разговоры переданы драматически так, как их пишут в пьесах.

В конце повести происходит слияние сюжетных линий.

Драба зашел к дьякону и надумал его; дола первый раз,—решает он,—парня и от озорства. Дьякон решает, что, значит, и весь мир от озорства, и бежит записываться в коммунистическую партию, кот вегетарианец бесится и спирает сразу восемь фунтов конины, метель говорит „гвиу, гвиу“ Пильняк произносит несколько слов о советских буднях, и повесть кончается.

Вся неразбериха ее, мне кажется, сделана сознательно и имеет целью затруднить восприятие, проясняя одно явление на другое, линия эти явно не сводились, и их несводимость (в них вставлено еще несколько анекдотов) и создает впечатление сложности.

Манера Пильняка вся в этом злоупотреблении бессвязностью.

„Третья Столица“ вещь подражательная, в ней автор пишет сам под себя, обманно ссылаясь на Ремизова.

Форма, получившаяся в „Голом Года“, как результат сведения отрывков, уже канонизована и употребляется наизусть.

Место: места действия нет. Россия, Европа, Мир, братство.

Герои: героев нет. Россия, Европа, мир, вера—безверие, культура, метель, грозы, образ Богоматери. Люди—мужчины в пальто с поднятыми воротничками; одиночки, конечно, — женщины—но женщины—мой скорбь.



Героев у Пильняка и не было, были „представители автономных областей“.

Все вещи кажутся мне положены на СССР, но без ВЦИК'а и Совета Национальностей. Места действия тоже не было.

Но в „Третьей Столбе“ все это регламентировано. Открывается повесть „объявлением о баше“, объявление это потом повторяется дважды. Один раз через три странички, уже в связи с описанием представителя одного куска, Емельяна Разина, и потом в конце, обозначая вторичное появление Разина. Разин этот—Советский служащий, но он Емельян (очевидно по Пугачеву) и Разин (очевидно по Стеньке), Разин он и Пугачев, для того, чтобы потом убить англичанина и доказать этим, что всякий русский—и Разин, и Пугачев.

Личного в нем нет ничего, просто этот человек без баше.

Потом идет авторская характеристика вещи, уже мною приводимая. Она кончается мыслью о женщине.

Мысль о женщине разворачивается в описание помещицы декабрьской ночи. Здесь говорится о том, что самое вкусное яблочко с пятнышком, о том, как нежен коньяк на морозе, и о том, что „женщина, как конфеты, можно выворачивать из платья“.

Все эти сентенции затем разделяются и по одиночке проходят через всю вещь, связывая ее части.

Я не буду рассматривать всю вещь, так как это заняло бы много времени.

Перечислю только кратко ее составные части:

1) Емельян Разин: жизнь его в России, поездка в Европу, проезд через Ригу. Возвращение в Россию, убийство англичанина Смита с целью грабежа.

2) а) Англичанин Смит (очевидно вообще англичанин) въезд его в Россию (первое пересечение с Разиным), б) его история и Елизавет. Смерть Смита, в) Со Смитом сведен его брат, едущий на Северный полюс.

3) Рига, а) Полковник Соломатин, он же Тензигольский, он же Растворов, при нем сын, в) Лоллий Львов Кровадов, с) князь Трубецкой и невеста его—Лиза Калитина.

Сама Рига—ее культура, традиция, дома—через постоянное упоминание древности одного публичного дома.

К этим основным линиям приспоединены десятки анекдотов и описание. Анекдоты взяты, обычные, ходячие, описания даны с мотивировкой восприятия англичанина и т. д.

Кроме того, введена лекция Пятрима Сорокина, играющая в вещи роль рассуждений полика в „Голом Годе“.

Англичанин и Разин фабульно связаны, фабульно связана и вся третья группа.

Связь же частей между собой, а заодно и многозначность их дана протекающими образами, роль которых расширить значение происходящего.

Пильняку нужно обобщение, и нужно дать многозначительность предмета, в этом деле он довольно наивен и берет это сам на себя, за читателя. Тут ему помогает, как я уже говорил, ряд образов (Разин, Лиза) и просто объяснения.

Но перейдем к механизму связи.

Возьмем первоначальное задание протекающих образов, тот кусок, где они дома вместе.

...Луна поднималась к полночи, а здесь у камня Иннокентием Анненкием утверждался Лермонтов, в той французской поговорке, где говорится, что самое вкусное яблоко—с пятнышком,—чтоб им двоим, ему и ей, томиться в холодке гостинной и в тепле камин, пока не поднялась луна. А там, на морозе безмолвствует пустынная, суходольная, помещицья ночь, и кучер в синих алмазах, утверждающий безмолвие, стоит на луке у крыльца, как лучший, лошадь бьет копытами: кучера не надо,—рысак сыплет комьями снега, все быстрее, все холоднее проселок, и луна

уже сияет горохово по верхушкам сосен. Тишина. Мороз. Впереди, совсем забытом снежными глышками, стынет фляжка с коньяком. И когда он идет по вожже к узцам рысака, не желающего стоять, дымащего паром,—они стоят на снежной пустынной поляне,—в серебряный, позеленевший постовец,—блеснувший на луне зеленым огоньком, она наливает неверными, холодными руками коньяк, холодный, как этот мороз, и жгущий, как коньяк, от него в холоде ноют зубы, и коньяк обжигает огнем коньяка, а губы холодны, нервы, очерствели в чертовой тишине, морозе. А на усадьбе, в доме, в спальне, домовой пес-старик уже раскинул простыни и в маленькой столовой, у салфеток, вдохнул о Рождестве, о том, что женщина, как конфеты, можно выворачивать из платья.—И это, коньяк этих конфет, жгущий холодом и коньяком,—это: мне—Ах, какая стена молчащая,—глухая женщина—и когда окончательно разобьет и голову.

Теперь проследим повторяемость образов. Вот как это появляется в теме: Разин.

...В пятый год—он: спутал числа и сроки, он увидел метель—метель над Россией, хотя видел весну, цветущие лимоны. Как зуб на гнилой челюсти,—самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком—метельным яварем, где-то в Ямбурге, на границе РСФСР,—когда весь мир ошестивился злою собакою на большевистскую Россию, и отмыгалась Россия от мира горячими поленьями, как у Мельникова-Печерского-золотоискатели ночью в лесу—от волков,—его, Емельяна, выкинуло из пределов РСФСР: в ошестивенный мир, в фанерные рапины Батавских слезок Эстии, Литвы, Латвии, Польши, в спокойствие международных вагонов, ветропых станций, кирочных, ратушных, замочных городов.

Эту же фразу мы видим в линии князя Трубецкого, в почти полном ансамбле.

...Надежда знает, что губы князя—терпкое вино: самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком. Разговор, пока Лиза наверху, короток и вульгарен. Здесь не было камин и помещицья ночи, хоть и был помещицый ветер, коньяк не жег холодом, от которого ноют зубы и который жмет коньяком,—здесь не утверждался—Иннокентием Анненкием Лермонтов, но французская поговорка—была та же.

Теперь тот же мотив у мистрис Смит (жена англичанина).

Мистрис Смит знала:—Самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком,—и, когда он идет по вожже к узцам рысака, не желающего стоять,—они стоят на снежной пустынной поляне,—неверными, холодными руками она наливает коньяк, холодный, как лед, от которого ноют зубы, и жгущий, как коньяк,—а губы, холодны, неверны, очерствели в жестокой тишине мороза, и губы горьки, как то яблоко с пятнышком. А дома домовой пес-старик уже раскинул простыни и подлил воды в умывальник.

Роберт Смит никогда не познал, никогда:—как—Лиза Калитина одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны.

Здесь, кроме того, любопытно обстоятельство, что мистер Смит связан с Лизой Калитиной, не только тем, что она знала, но и тем, что он никогда не узнал про Лизу Калитину. То есть во втором случае, связь дана чисто условная, только обозначена.

Кроме того, мистрис Смит знает, „Она знает, что женщину, как конфету, нужно из платья выворачивать“.

Когда к ней приходит телеграмма о смерти ее мужа, то это дано так: Телеграф. Телеграф: это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами и осенью, сиротливо, потому что кто знает, что о чем гудят они,—в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам.—В Эдинбурге, у матери Смит в пять часов было подано кофе, блеснул кофейник, сервиз, скатерть, полы, филендроны,—в Париже у мистрис Чудлей разогревалась женщина, чтобы женщину, как конфету, из платья выворачивать,—и тогда велосипедисты привезли телеграммы.

— „Мистер Роберт Смит убит в Москве“.

Так как вещь осложнена временной перестановкой, то о том, как жил Роберт Смит в Москве, мы узнаем уже после извещения о его смерти.

Жил он обыкновенно, тут выше Пильняка не прыгнешь.

Ходил, говорил сентенции вроде:

Разговор велся о пустяках, и только четыре отрывка разговора следует отметить. Говорили о России и власти советов. Мастер Смит, изучавший теперь русский язык, в комбинации слов—власть советов—пашел филологический, словесный консенс: совет—значит пожелание, чаще хорошее, когда один другому советуется поступать так, а не иначе, желает ему добра, советовать—это даже не приказывать,—и стало быть, власть советов—есть власть пожеланий: консенс.

Но главное занятие было:

В концертном салоне заиграли на пианино. В ночной тишине было слышно, как в маленькой столовой накрывали стол. Англичане провели дам в уборную, пошли переодеваться. Женщины, конечно, как конфетки, можно выворачивать из платя. Старик-лакей заботливо занавешивал окна, чтоб никто не видел с улицы, что делают колонизаторы. Было приказано никого не пускать.

Так, фраза связывает линии произведений. Отдельные кусочки тоже связаны уже внутри себя, такими фразами.

Кусок „Рига“ связан, например, постоянным упоминанием:

„В башне, как женская“.

Кроме того, вся вещь исполнена повторениями, повторяются описания домов, описания людей, целыми кусками, именно кусками, графически выделенными.

От „Голого Года“ к „Третьей Столице“ путь не далекий.

Но в „Третьей Столице“ есть и новое. Это фельетонный элемент, полугазетное описание гибели Европы, по манере может быть связанное с Ильей Эренбургом.

Возросло и расстояние между сюжетными линиями, возросла и претенциозность загадки.

Странно вошли в вещь живые цитаты, чуть ли не целые рассказы Бунина и Всеволода Иванова. В составных же частях „рассказа“ конструкции нет или есть она в банальной, уже не переживаемой форме.

## На грани курьеза.

В. ВЕРЕСАЕВ. „Что нужно для того, чтобы быть писателем“. Книгоизд-во писателей в Москве“. 1924 г.

Многие думают, что курьезных книг у нас более не издастся. Как бы не так! Хотите убедиться в противном?

Тогда давайте вашу руку, и мы совершим небольшую прогулку по страницам вересаевской книжицы.

Но прежде всего, слова и снова, о рабочих процессах. Переплетное дело—это переплетное дело. Врачевание—это врачевание. Учительство—это учительство. Писательство же, по Вересаеву, это не только писательство, это звучит грандиозно. Это что-то вроде небожительства. Об нем можно говорить только в возвышенном тоне и не иначе, как колениопреклоненно. И сам писатель должен парить на манер орла.

„Как птица (!) в „лаженной (!) свободе бессознательного (!) влечения, должен художник выражать, чем полна его душа, не задаваясь вопросами, что такое поэзия, каковы ее задачи... Искусство широко, многогранно и не терпит на себе никаких пут“ (разрядка наша).

Итак, учительство—это учительство. Врачевание—это врачевание. И то, как и другое, как и всякое вообще дело,—мастера боится. Ни врач—лечить, ни учитель—учить не идут наобум и считаются не с настроением, а с навыками и умением. Но что делать „птице“, которая не сует и не жует... ни навыков, ни методов, „птице“, которая „в блаженной свободе бессознательного влечения“ начнет парить над листом белой бумаги. Ясно, она будет парить только тогда, „когда придет соответственное настроение“. (стр. 19).

И вот, когда оно, наконец, случайно, стихийно, анархично снимается как-нибудь на вашу голову, тогда—говорит Вересаев—

„Забудьте о всяком писательстве, отдайтесь творчеству для себя, пишите, не думая о читателях... Это-то и будет самым лучшим, что вы напишете,—поверьте мне“ (разрядка наша).

И далее:

„В явлении самого себя,—выявлении сокровеннейшей, часто самому художнику непонятной сущности своей, своей единой, неповторимой личности, в этом—единственная истинная задача художества, и в этом также—вся тайна творчества“.

Но—отдохнем немного от цитат—и хотя они сами за себя говорят, поговорим немного о них.

Следовательно, если верить Вересаеву, творчество писателя „не терпит на себе никаких пут“.

Но, ведь, не существует же на свете ни одной деятельности, которая была бы отвлеченной, самой по себе и пренебрежала бы не в классовом обществе, а в безвоздушном пространстве, потому что нет же ни одного работника, ни одного профессионала, который бы не был так или иначе социальным зарядом. Ибо единственный фундамент всякой деятельности—фундамент социальный. И социальная роль писателя—это роль словесного организатора и оформителя тех тем, которыми его заряжает его же собственный класс.

Значит „путы“ есть (бояться их нечего, бояться „пут“—это бояться общего дела), а никакого „свободного“ творчества, наоборот, нет. Каждый писатель (и даже если он—„единая, неповторимая, личность“—должно быть нечто вроде марсианина на земле, Азлит какой-нибудь) пишет отнюдь не бессознательно, а с определенной социальной оглядкой на свой класс, с той самой оглядкой, которая осуществляет беспроволочным и безмашинным путем задачу представительства одним человеком человеческих тыщ и препятствует отрыву одного от этих породивших его тыщ.

При чем в работе этой он старается исходить не из гадательного и сомнительного „соответствующего настроения“, а тренируется в постоянной готовности, без перебоев, представлять свою социальную группу. И работая не наобум и не как вадумается, а пользуясь всеми новейшими достижениями словесной культуры. Наконец, работая не в одиночку, не партизански, не „выявляя самого себя“, а бок-о-бок с товарищами, ему подобными по методам и спорам, и—о, ужас!—в принципах той или иной—зловредной по Вересаеву—литературной партии или школы.

Вот и все. И если после всего этого Вересаев все же рискнет повторять:

„Искусство писать?—нет никакого искусства писать“

или:

„Никакого стиля вырабатывать не нужно... Стиль придет сам собой“

то тут можно развести только руками: редкий пример „единой неповторимой личности!“ Редкий образец обворожительной тоже-теории „самособойного“ искусства!

П. Незнамов.



## КНИГИ ЛЕФОВ.

**С. ТРЕТЬЯКОВ.** „Итого“—стихи. Госиздат. Москва. 1924 г.

В сборнике собраны стихи поэта за десять лет — от периода ученичества до прояснения последнего года. Большой отдел занимают в книге стихи, связанные с Революцией.

**С. ТРЕТЬЯКОВ.** „Октябrevичи“. Изд. „Молодая Гвардия“. М. 1924 г.

В сборнике представлены исключительно стихи о молодяке, стихи о Революции. В целом сборник носит отчетливо-производственный характер.

**А. КРУЧЕНЫХ.** „500 новых острот и каламбуров Пушкина“.

Книга разрабатывает вопросы, затронутые в сборнике того же автора „Двигология“, но на этот раз в качестве материала избран Пушкин. (7000 сдвигов из просмотренной половины стихов Пушкина).

Характерен для книги — совершенно новый критический подход, своей неправычностью будирующий широкого читателя, на которого он рассчитан.

# ФАКТЫ

## ЮГО-ЛЕФ.

### Первые шаги.

С организацией в половине апреля т. г. в Одессе Юго-Лефа, сомкнулись стороны гигантского треугольника Владивосток—Москва—Одесса, в крайних точках—городах которого достижения работников левого фронта были особенно значительны и весомы.

Первое собрание Юго-Лефа в Одессе, развернувшего работу на всю Южную Украину, было собрано по инициативе приехавшего из Москвы т. Недоли—Гончаренко. Был набран комитет Юго-Лефа в лице тт. Недоли, Кирсанова, Бондарина, Соколова и Давилова.

Главное внимание в работе Юго-Лефа в Одессе было устремлено на тесную связь с рабочей массой: представители Юго-Лефа энергично устремились в клубы и на заводы.

В самое короткое время было проведено до тридцати открытых программных выступлений, и быстро увеличилось количество участников и последователей левого фронта. Была также смонтирована работа с Пролеткультом и Ассоциацией Комму. Культуры и достигнута связь с центром и периферией.

Как и везде, решительный темп работы и крайняя конкретность поставленных задач лефов, быстро заинтересовали партийные, профессиональные и советские круги юга, объединив вокруг себя сочувствующих передовых товарищей.

Каждая значительная дата советской жизни—как местного, так и общесоюзного значения—принималась Юго-Лефом во внимание и особенно обслуживалась.

### Праздник 1 мая.

Особенно широко размахнулся Юго-Леф в день празднования 1 мая. К этому дню была выпущена однодневка—листовка, заключавшая в себе воззвание к рабочим и агит-работы постов.

Через госорганы были получены грузовики. Во всеоружии плакатов и лозунгов они весь день 1 мая громыкали по городу, врвались в места стоянок рабочих колонн, осыпали манифестантов листовками и служили тт. из Юго-Лефа в качестве движущейся трибуны: велась агитация за искусство живестроения—лучшее из искусств!

Волоса прилипали к фуражкам, гимнастерки набухали потом, голоса снижались до хрипоты—но дело было сделано: живые речи и новые методы запомнились. И новые, поставленные Лефом перед работниками слова, задачи: социальная поэма, агитка, лозунг нашли громадную и сочувствующую аудиторию и многих постоянных и твердых последователей.

## Вширь и вглубь.

Планируя работу по периферии, Леф избрал в Одессе местом своей базы центральный партийный клуб. Здесь был дан ряд докладов, ставивших своей целью ознакомить коммунистическую общественность с теорией и практикой искусств левого фронта. Горячие дискуссии показали, что интерес среди партийных и рабочих товарищей к Лефу высок. Юго-Леф еще пополнялся новыми силами.

В настоящее время Юго-Леф числит в рядах своего актива более 30 товарищей. Из них 40% — партийные, что значительно превышает процент партийности всякой другой южной литературно-культурной организации.

Благодаря идеологической спайке и твердости основной линии Юго-Лефа, ему очень скоро удалось вовлечь в свою орбиту все родственные группировки и породить движение в пользу левого фронта в массах украинских городов. Госназат УССР пригласил Юго-Леф участвовать в выпускаемом Октябрьском сборнике.

Большая работа проделана в Подолье — преимущественно среди комсомольцев. Особенно трудно здесь было вышибать из голов, навешенное Сосновским, отрицательное мнение о Лефе. Подольская группа ценит тем, что во главе ее стоят партийные работники. В Крыму леф-работой руководит т. Санин, партиец и ответственный флотский работник. По литературной линии все внимание здесь обращено на творчество флотиков, в среде которых номер московского журнала „Леф“, попавший туда какими-то судьбами, прошел сотни рук.

Кроме того, организованы на Украине молдавская и еврейская секция Юго-Лефа, целиком состоящие из рабочих.

Позднее возникла группа сочувствующих в Вилнаветграде, и в настоящее время перед Юго-Лефом стал вопрос об организации работы во всеукраинском масштабе. Во всяком случае задачу инструкторов провинции Юго-Леф взял на себя уже теперь.

## Инструкторам и последние выступления.

Инструктируя товарищей, Юго-Леф, прежде всего, рекомендовал брать на себя работу по силам, не зарываясь, обращая главное внимание на рабочую и комсомольскую массу и больше всего стараясь придерживаться конкретных, идеологически-четких заданий.

Всячески разоблачать непо-буржуазных представителей искусства, ведя с ними борьбу.

Входить в контакт с рабкорами, военкорами и парткорами.

Усиленно вести учебу и лабораторную работу.

Воспитывать себя и уметь обслуживать выразительными лозунгами и плакатами массовые манифестации и демонстрации.

Выступления самого Юго-Лефа в Одессе за последнее время стали почти ежедневными. Так, например, 7 сентября его участники выступали на вечере международного юного дня, где были шумно одобрены тремя тысячами комсомольских глоток, 8-го числа в партклубе на открытом вечере Юго-Лефа, где помещение не сумело вместить и четвертой части всех желающих побывать там, 9-го числа — в Доме Просвещения, 10-го — в первом Доме отдыха Г. С. П. С., где доклад т. Недоля сильно заинтересовал рабочую аудиторию. И так далее.

15 сентября на 29 м открытом вечере Юго-Лефа состоялся доклад т. Соколова о быте, вызвавший горячие прения. „Допровская, — отпуская“ — стихи т. Кирсанова — была встречена с восторженным сочувствием. Были также продемонстрированы работы т. Соколова; эскизы книжечки, обложки, рекламы ларька и проч.

## Журнал.

В сентябре же был выпущен первый номер журнала группы, под названием „Юго-Леф“, где в передовой ставилось целью — „дать возможность широкому слою коммунистич. общественности ознакомиться с нашей теорией и практикой во всех видах искусства“.

Журнал не замыкается в узкий круг, предоставляя свои страницы для широких рабоче-красноармейских и советских кругов. И это хорошо.

Но он узко-партийн, т. е. проводит определенную линию и объявляет войну всей буржуазной и под-буржуазной литературе. И это тоже хорошо.

Пильняки, Алексей Толстые, Эренбурги и др. воздействуют на массы в отрицательном для коммунистической партии смысле, — пишет Юго-Леф, — и мы должны подалеже держать их от массы“. Или точнее — массы от них.

Практика Юго-Лефа ориентируется на рабкорскую среду, на партийцев, комсомольцев, рабочих и крестьянских писателей — из которых выйдет новый коммунистический писатель“.

Из практики Юго-Лефа в двух первых №№ журнала обращают на себя внимание стихи С. Кирсанова и Л. Недоли.

„Допровская отпуская“ — первого очень локальна и хорошо исполняет бандитские словечки. Тема ее — исправившийся налетчик. Хорошо подобранные (по заданиям ритма) односложья и крепко-вмонтированная солдатская песня, в данном случае перефразированная:

Соловей, соловей — тек, тек, тек... —

плюс удачно-пришитая концовка:

Ай, спасибо полйтчас,  
Здорово подрезали.  
Соловей торчит чичас  
На заводе слесарем, —

делает это стихотворение очень своеобразным и актуальным.

„Амуртаева дочь“ — второго, вызвавшая нападки защитников старого искусства, характерна своей словарной легкостью, тем более наумительной в этом рабочем (т. станка поэте, что он и писать-то научился, только во время революции, — и хорошей беспрепятчивостью, напоминающей иные стихи Вас. Каменского, но без его фонетической сгущенности. Она — очень песенная и бодрая.

Выразительны строки:

Разорвался наогненный год,  
Свистом лягнул табунщиков род...  
По буденовски ведевула коня  
И пошел генералов гонять!  
Оголил  
дворянскую Русь —  
Оказался  
Советский Союз.

Не плохи стихи и других участников „Юго-Лефа“ и такие, например, плакатные строчки С. Вондарина, как:

Даже там, где молочной тушей  
Давнул в гору Моблай — и выше —  
Даже там, если кривнуть: Слушай!  
Москва отвечает: Слышу!

— легко запомнятся, также как и другие его же:

Знайте, пуля в груди коммуниста  
Тоже входит в ряды РКП.

Номера „Юго-Лефа“ выходят время от времени, в 16—20 страниц и подбор материала производится по принципу нанесения противникам коротких и частых ударов.

Ударная передовая, агит-стихи, полемика, факты—вот и все, что нужно. Больше и не надо. Но хорошо то, что эти короткие удары—часты и что они—в одну точку. Хорошо, что этот журнал—не столько журнал, сколько трибуна. Хорошо, что он злободневен и быстро откликается. Не успела одна на одесских газет выступить против него, как уже получила своевременную отповедь.

П. Н.

## Декларация конструктивистов<sup>1)</sup>.

### Основные положения конструктивизма.

1. Характер современной производственной техники, убыстренной, экономичной и емкой—влияет и на способы идеологических представлений, подчиняя всекультурные процессы этим внутренним формально-организационным требованиям.

Выражением этого повышенного внимания к технико-организационным вопросам и является конструктивизм.

2. У нас, в СССР конструктивизм приобретает широкий общественно-культурный смысл, вследствие необходимости в сравнительно короткий срок покрыть расстояние, отделяющее пролетариат, как культурно-отсталый класс, от современной высокой техники и всей развитой системы культурных надстроек, которые, в обстановке обостряющейся во всем мире классовой борьбы, используются буржуазией, то же как технические орудия борьбы.

3. Организационным оформлением этой задачи—которая была обозначена Лениным, как задача культурничества—и является конструктивизм.

4. Таким образом, конструктивизм есть упорядоченные в систему мысли и общественные унастроения, которые подчеркнута отражают организационный натиск рабочего класса, вынужденного в крестьянской стране, после завоевания власти, строить хозяйство и закладывать фундамент новой социалистической культуры.

5. Этот организационный натиск в области культуры устремляется преимущественно на ее технику во всех областях знания и умения, начиная с простого овладения грамотой.

6.носителем конструктивистского (т.е. напористо-организационного) и культурнического движения должен явиться, прежде всего, пролетариат, а затем промежуточные социальные группы, выходящие под идейно-политическим влиянием пролетариата.

7. Конструктивизм, перенесенный в область искусства, формально превращается в систему максимальной эксплуатации темы, или в систему взаимного функционального оправдания всех слагающих художественных элементов. Т.е. в целом конструктивизм есть мотивированное искусство.

8. В формальном отношении такое требование упирается в так-называемый принцип грузофикации, т.е. увеличение нагрузки потребностей на единицу материала.

9. Правые социальные слои, интеллигентские и мелкобуржуазные группы приспособляют формальные требования конструктивизма в качестве эстетических окопов для отсиживания в них от натиска револю-

<sup>1)</sup> Декларация доставлена в ЛЕФ представителем группы тов. Зелинским.

ционной современности, ищущей закрепиться в художественной теме. Тогда конструктивизм превращается в особый станковый жанр, т.е. не мотивированную демонстрацию приема. Это одинаково верно, как в отношении живописи, так и поэзии.

Для левых социальных слоев это требование максимальной эксплуатации естественно слито с поисками большой эпической темы и тесной формы для нее, что логикой сюжета вводит в область поэзии приемы прозы.

10. Принцип грузофикации в применении к поэзии превращается в требование построения стихов в плане локальной семантики, т.е. развертывания всей фактуры стиха из основного смыслового содержания темы.

11. Группа конструктивистов-поэтов, сделавшая своим знаменем вышеупомянутые положения, есть организационное объединение людей с коммунистической идеологией, ставящее своей задачей путем совместной практической проработки формально-технической и теоретической сторон конструктивизма—придать поэзии в современной культурной обстановке действительный смысл.

Конструктивисты считают необходимым в своем поэтическом творчестве отражать революционную современность, как тематически, так и в ее технических требованиях.

Конструктивисты стремятся овладеть поэтическим участком общего фронта культурничества, понимаемого как широкий конструктивизм рабочего класса в переходную эпоху борьбы за коммунизм.

Москва, август 1924 г.

Илья Сельвинский,  
Корнелий Зелинский,  
Вера Инбер,  
Борис Агатов,  
Евгений Габрилович,  
Дир Туманный.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
I. Практика.	
В. В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин . . . . .	3
С. Кирсанов. Два стихотворения . . . . .	24
П. Незнамов. Читинский скорый . . . . .	27
А. Крученых. 1914—1924. . . . .	30
С. Третьяков. Москва—Пекин. . . . .	33
А. Веселый. Страна родная. . . . .	59
В. Шкловский. Иперет. . . . .	70
П. Н-мов. О прозротах . . . . .	76
А. Лавиновский. Прозротаы. . . . .	—
II. Теория.	
К. Зелинский. Идеология и задачи советской архитектуры .	77
Г. Поливанов. О преподавании терминологии . . . . .	109
III. Книга.	
К. Зелинский. Книга, рынок и читатель . . . . .	118
В. Шкловский. О Пильняке. . . . .	126
Отзывы о книгах . . . . .	136
IV. Факты. . . . .	139

07 144

07 145

1

「丹医中」